ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Н. С. Лесков

КАДЕТСКИЙ МОНАСТЫРЬ



Кадетский монастырь
Николай Семёнович Лесков

Аннотация
Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь
Томление духа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Очарованный странник
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая

Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Кадетский монастырь
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая

Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая
Глава девятнадцатая
Глава двадцатая
Глава двадцать первая
Глава двадцать вторая
Прибавление к рассказу о кадетском монастыре
Привидение в инженерном замке. Из кадетских воспоминаний
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая

Томленье духа. Из отроческих воспоминаний
Комментарии
Очарованный странник
Кадетский монастырь
Привидение в инженерном замке. Из кадетских воспоминаний
Томленье духа. Из отроческих воспоминаний

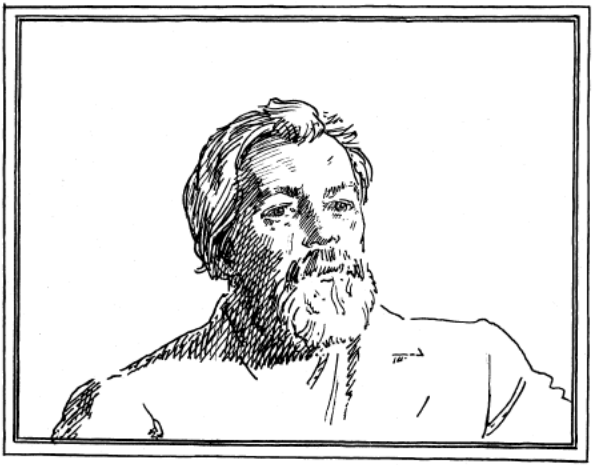
Аннотация

В книгу вошли произведения замечательного русского писателя Н. С. Лескова. Они раскрывают красоту души русского человека, передают его самобытность и миросознание, сливающее воедино ум, веру, любовь, целомудрие и стремление к истине, к духовности.

Для старшего школьного возраста.

Николай Семенович Лесков

Кадетский монастырь



1831–1895

Томление духа

1

«Чудаки, право, чудаки! О русском человеке хлопочут, а русского человека не знают. Тут, видите, вера прирожденная, и живет она у человека по-домашнему, за пазушкой… Кому, как нам, не на кого надеяться, тому прямой помощник Бог, и слава Ему, что Он живет у нашего человека не в далеком отвлечении…»[1] Эти слова одного из героев Н. С. Лескова вполне отвечают и его многоопытным впечатлениям, и представлениям о внутреннем мире русского человека в прежней русской жизни, которую писатель наблюдал, изучал, переживал и постиг умом, сердцем и душою. Поэтому его творчеству свойственно не холодное, умозрительное изображение людей и обстоятельств, а живые, как бы освещенные внутренним светом, яркие, необычные герои и причудливые хитросплетения действительности, которые он умел открывать и видеть за внешней обыкновенностью и обыденностью. Лесков одним из первых сумел во всей полноте

[1] Примечания: 1

Лесков Н. С. Монашеские острова на Ладожском озере: путевые заметки // Очерки и рассказы. Петрозаводск: Карелия. 1988. С. 166–167.

передать национальную самобытность и православное миросознание русского человека, сливающее воедино ум, веру, волю, смирение, любовь, миролюбие, милосердие и целомудрие, простосердечие, послушание и дерзость в стремлении к истине, к духовности жизни и способность к покаянию.

И не случайно страстно ратует он за духовное возрождение России и русского человека, понимая под духовностью прежде всего то, что «возвышается над чертою простой нравственности»[2]. «...Есть, конечно, истинное счастие: оно заключается в полноте и правильности жизни, а такая жизнь вполне возможна только при *общем* благосостоянии... Чем усерднее и честнее будем мы служить общему делу, общему благу, тем более и приблизимся к нему. Конечно, жизнь по таким правилам подчас не так уж и удобна, как жизнь, рассчитывающая на случайное произвольное счастие; но зато она полнее, разумнее и единственно достойная жизнь человека, сознающего свое человеческое достоинство...»[3]

---

[2] Примечания: 2

Лесков Н. С. Собр. соч.: в 12 т. М., 1989. Т. 2. С. 4.

[3] Примечания: 3

Лесков Н. С. С Новым годом! // Северная пчела. 1862. № 1. Цит. по кн.: Лесков Н. Честное слово. М.: Сов. Россия, 1988. С. 81–82.

Это человеческое достоинство Лесков всегда связывал с неотъемлемым свойством всякой подлинной личности — с духовностью, то есть внутренней потребностью к Высшему: к истине, добру, красоте, к Богу… Такое человеческое достоинство и стремился утвердить Лесков своим творчеством в сердцах соотечественников.

Тридцать пять лет служил Лесков родной литературе. В его рассказах и повестях, словно заново рожденные, возникали почти не изведанные до него области жизни, заставляя читателей оглянуться на весь русский мир. Здесь представлена и «отходящая самодумная Русь», и современная ему действительность. Разнообразные характеры героев раскрывались им с беспощадной трезвостью и с неизменной любовью. В своем художественном исследовании прошлого и настоящего Лесков настойчиво и страстно стремился быть правдивым и открыл столь много ранее неизвестного, прекрасного и поучительного, что само его творчество мы вправе назвать подвигом.

2

Родился Николай Семенович Лесков на Орловщине, в селе Горохове 16 (4) февраля 1831 года.

Раннее детство он провел в самом Орле. Здесь, недалеко от крутого обрыва над рекой Орликом, откуда открывается «просторный вид за широкий и глубокий овраг с обрывистыми краями»[4], некогда стоял высокий деревянный дом с мезонином, в котором жила семья Лесковых[5].

Отец писателя, попович, небогатый судейский служащий, чиновник Орловской уголовной палаты, Семен Дмитриевич Лесков («большой замечательный умник»; 10, 310), был известен «твердостью убеждений» и непримиримой честностью. Близкий в прошлом к Рылееву и Бестужеву, он после одного служебного разлада в 1839 году ушел в отставку, резко разойдясь во взглядах с губернским начальством.

---

[4] Примечания: 4

Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. М., 1958. Т. 8. С. 5. Далее ссылки на это издание в тексте статьи.

[5] Примечания: 5

Дом этот сгорел во время пожара 1850 г. (См.: Алексина Р. Судьба лесковской усадьбы: ответы на загадки и новые вопросы // Орловская правда. 1986. 17 дек. С. 4.)

Мать Николая, Лескова Марья Петровна (урожденная Алферьева), женщина «трезвого ума, крепких жизненных навыков» и твердого характера, была, однако же, религиозна, даже набожна.

Детская память писателя сохранила немало впечатлений. Запомнился ему священник отец Алексей, крестивший его и учивший заповедям, няня, Анна Степановна, которая «после воли» не оставила господ и бескорыстной преданностью заслужила всеобщее почтение. Няня намного пережила своего питомца; он же до последних лет жизни помнил ее и незадолго до смерти ей писал: «Обнимаю и целую друга сердечного Анну Степановну. Бог ей в помощь перенести бремя лет...»[6]

После отставки Семена Дмитриевича семья Лесковых переселилась в Кромской уезд, на небольшой хутор Панино. Там, как вспоминал писатель, где «была водяная мельница с толчеею, сад, два двора крестьян и около сорока десятин земли», и находился крошечный домик Лесковых, «который состоял из одного большого

[6] Примечания: 6

Лесков Н. С. Письмо З. Н. Крохиной от 17 нояб. 1894 г. Цит. по кн.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным семейным и несемейным записям и памятям: в 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 95.

крестьянского сруба, оштукатуренного внутри и покрытого соломой».

Обаяние родной стороны овладевало воображением мальчика. Навсегда запали в его память предания русской старины, легенды о чудесных странниках и благородных разбойниках, крестьянские поверья, которые слышал он в глуши Кромского уезда от нянюшек и дворовых. «Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную вероятность, — писал Лесков позже, — и их густое, образное содержание до такой степени переполняло мою фантазию, что я сам был чуть ли не духовидцем… Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазией».

На всю жизнь проникся будущий писатель народным духом. Всегда испытывал он глубокий интерес к народному творчеству, к тому «всеобъемлющему опыту… исторической жизни»[7], без которого невозможно ощутить полноту народного миропонимания.

Постижение народной поэзии рождалось прежде всего в самом непосредственном общении с

[7] Примечания: 7

Р. Д. (Р. Дистерло). Н. С. Лесков: критический очерк // Неделя. 1890. № 28.

товарищами детства, подневольными крестьянами. Мальчиком внимал Н. Лесков рассказам о жестоких тиранах-помещиках, принимал близко к сердцу драматическую судьбу «барских холопов» и не раз заступался за товарищей, которых часто, как он писал, «стоя на своих детских коленях, в оные былые времена, отмаливал своими детскими слезами от палок и розог»[8].

Непросто свершалось становление характера будущего писателя, его взглядов и убеждений. Не без влияния отца вырабатывает он свое отношение к патриархальным традициям, к религиозности. От него же унаследовал Николай Лесков и беспощадную честность в делах. И что гораздо труднее — в своих убеждениях. Позже он так писал о становлении своих взглядов: «Мне просто надо было снять с себя путы, опутывающие с детства дворянское дитя в России… дворянские тенденции, церковная набожность, узкая национальность и государственность, слава страны и т. п. Во всем этом я вырос, и все это мне часто казалось противно, но… я не видел, „где истина!“».

Вместе с тем Лесков с детства чувствовал и

[8] Примечания: 8

Лесков-Стебницкий Н. С. Русское общество в Париже // Сборник мелких беллетристических произведений. СПб., 1873. С.320.

почитал православную культуру и душой воспринимал мысль о деятельном благочестии человека, должного оставлять «по себе в памяти благочестивых потомков идеальный образ, озаренный лучами святости»[9], и бытие не ограничивалось в его сознании земным существованием: он глубоко верил в «иную жизнь», а человек и его поступки оцениваются им не только житейски, но и религиозным образом.

[9] Примечания: 9

Буслаев Ф. И. Идеальные женские характеры в Древней Руси // Соч. СПб., 1910. Т. 2. С. 243.

3

Пять лет провел Лесков в стенах Орловской гимназии. Учение здесь не много прибавило к его образованности. Господство ученой схоластики, розог и многое другое «имело вредное влияние даже и на нравственную сторону воспитанников»[10]. Но здесь встретился он и с достойными, необыкновенными людьми: чистейшим человеком Валерианом Варфоломеевичем Бернатовичем, добрым батюшкой отцом Евфимием Андреевичем, с украинским фольклористом и этнографом Марковичем, о котором впоследствии писал: «…обязан ему всем моим направлением и страстью к литературе» (письмо С. Н. Шубинскому от 23 июля 1883 г.).

В гимназии проявилась у Лескова любовь к чтению «самых разнообразных книг, и в особенности беллетристики». Уже на склоне лет он вспоминал о том времени: «…посещал дом А. Н. Зиновьевой, племянницы кн[язя] Масальского. У г-жи Зиновьевой была богатая библиотека, доставлявшая мне массу материалов для чтения, я

---

[10] Примечания: 10

Лесков Н. С. Заметки о зданиях // Современная медицина. 1860. № 29.

прочел ее почти всю…»[11] До конца дней оставался писатель страстным библиофилом, знатоком по части редких и замечательных книг и собрал немало ценных изданий.

Не окончив гимназии, начал Лесков свою службу чиновником Орловской уголовной палаты. Здесь в большом многообразии раскрывались перед ним всевозможные жизненные драмы и вся подноготная пестрых людских судеб, в которых он принимал нередко самое близкое участие. Встречаясь с людьми различных сословий, чинов и рангов, он познает нравы русской провинции, пополняет уже значительный к тому времени запас наблюдений. Впоследствии в его произведениях воскреснут и услышанные им рассказы из истории стародавнего помещичьего самовластья, и личные наблюдения юных лет: горестные повести о судьбе крепостных («Житие одной бабы», 1863; «Тупейный художник», 1883), и уголовные драмы («Леди Макбет Мценского уезда», 1865; пьеса «Расточитель», 1867), и ужасающие картины голода в деревне («Юдоль», 1892), и полные восхищенного любования и вместе с тем беспристрастных оценок повести о замеча-

[11] Примечания: 11

В<иктор> П <ротопопов>. У Н. С. Лескова // Петербургская газета. 1894. 27 нояб.

тельных людях из народа, благородных чудаках и праведниках.

В 1849 году Лесков был переведен в Киев и вскоре «определен помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения»[12].

Университетский Киев заметно отличался от провинциального Орла. В доме своего дяди, брата матери, профессора медицины С. П. Алферьева, Лесков встречался «почти со всеми молодыми профессорами тогдашнего университетского кружка[13], а близ куртин верхнего сада, в «своем лицее», проводил с молодыми сверстниками, как писал он, «целые ночи до бела света, слушая того, кто нам казался умнее, — кто обладал большими против других сведениями и мог рассказать нам о Канте, о Гегеле, „о чувствах высокого и прекрасного“ и о многом другом…» (7, 135).

Знакомство с киевским кругом ученых и литераторов немало дало пытливому юноше. Он тесно сошелся с украинцами, полюбил национальную культуру и язык братского народа и его великих поэтов, особенно же ценил Тараса Шевченко, был

---

[12] Примечания: 12

Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. М., 1984. Т. 1. С. 137.

[13] Примечания: 13

Лесков Н. С. Официальное буффонство // Исторический вестник. 1882. № 10. С. 441.

с ним близко знаком и посвятил ему впоследствии несколько своих замечательных статей.

Вспоминая это время, Лесков устами одного из своих героев высказывается так: город этот «в течение десяти лет кряду был моею житейскою школою», а о своей привязанности к тем краям говорит: «После Украины уже нет равного уголка в России»[14]. Киевский опыт служебной практики постоянно обогащал запас его наблюдений. Но еще более значительный жизненный багаж приобрел Николай Лесков, когда, оставив государственную службу, поступил на работу к мужу своей тетки, англичанину А. Я. Шкотту, управляющему имениями графов Перовских и Нарышкиных.

Сопровождая переселяемых на новые земли крестьян, он разъезжал по югу, северу страны и Поволжью, попадая иногда и в отдаленные «медвежьи углы» России. Он бывал в самых разных городах: в Пензе и Риге, в Новгороде, Пскове, Оренбурге и Одессе. Он знал прикаспийские степи и песчаные равнины Поволжья, жил в Прибалтике и на островах Финского залива… На юге он видел дикие киргизские степи: «…простор — краю нет;

---

[14] Примечания: 14

Лесков Н. С. Письмо к Н. П. Крохину от 15 дек. 1887 г. Цит. по кн.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Т. 1. С. 149.

травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет» (4, 434).

На севере развертывались перед ним иные пейзажи: прозрачные воды Ладожского озера, печальные ландшафты Карелии и водная гладь и густо-зеленые чащи близ белостенного Валаамова монастыря, где «стоит немножко дать волю воображению — и сейчас так и кажется, что вот не тут, так там из темного бора выедет удал добрый молодец и на святые храмы помолится, а потом свистнет громким посвистом, гаркнет молодецким голосом и станет звать из озера чудо-юдище на дело ратное, на побоище смертное»[15]. Любил Лесков и невские берега Петербурга, и златоглавый Киев, возвышающийся над кручей могучего Днепра, с его Киево-Печерской лаврой и Софийским собором.

Дорога́ была ему и Москва, старый Лефортовский дворец, Чистые пруды, Театральная площадь, Кремль и «тихая Москва-река с перекинутым через нее Москворецким мостом, а еще дальше облитое лунным светом Замоскворечье и сияющий купол Симонова монастыря». Любил

[15] Примечания: 15

Лесков Н. С. Запечатленный ангел: рождественский рассказ // Монашеские острова на Ладожском озере: путевые заметки. СПб., 1874. С. 252.

он и Красную площадь, где «бронзовый Минин поднимал под руку бронзового Пожарского».

Мало кто из русских писателей столько ездил по России, сколько Николай Лесков. «…Учился не в школе, а на барках у Шкотта…[16] — говорил он, вспоминая время горьких, суровых наблюдений, — изъездил Россию в самых разнообразных направлениях, и это дало… большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений» (11, 18). Эти сведения он пополнял до конца своих дней уже в Петербурге. «У него на дому можно было встретить и старообрядцев, и хлыстов, и монахов, и богомольцев, якобы возвращавшихся с Афона или Иерусалима…»[17]

Постижение жизни родной страны и сокровенная связь с народом рождались в самом непосредственном общении. «Я не изучал народ… я вырос в народе на гостомельском выгоне с казанком в руке, — с полным правом писал о себе Лесков, — я спал с ним на росистой траве ночного под теплым овчинным тулупом да на

---

[16] Примечания: 16

Цит. по кн.: Фаресов А. И. Против течений. СПб., 1904. С. 21.

[17] Примечания: 17

Де ла Барт Ф. Г. Литературный кружок 90-х годов. (Из воспоминаний о Вл. Соловьеве, Н. С. Лескове и др.) // Известия общества славянской культуры. Т. 2, кн. 1. М., 1913. С. 19.

замашной панинской толчее. <…> Я с народом был „свой человек“ и знал русского человека в самую его глубь»[18].

В самую глубь знал Лесков и русскую историю. Он умел не только критически оценить прошлое, но и выразить о нем свое мнение, полное национального достоинства. В одной из своих статей он писал, возражая неумеренным скептикам: «Обращаемся к истории, и здесь же мы видим, что этот народ отнюдь не лишен способности понимать общественную пользу и служить ей без подгона, и притом служить с образцовым самопожертвованием даже в такие ужасные исторические моменты, когда спасение отечества представлялось невозможным…»[19]Лесков считает, что «простой человек… спасает Россию, ввергнутую в омут крамолами бояр», он с глубокой страстностью заключает: «Этот ли народ надо изображать дурашливым сборищем, неспособным понимать своего призвания?»[20]

---

[18] Примечания: 18

Лесков-Стебницкий Н. С. Русское общество в Париже // Сборник мелких беллетристических произведений. СПб., 1873. С. 320.

[19] Примечания: 19

Лесков Н. С. Энергическая бестактность // Православное обозрение. 1876. Т. 11. С. 138–139.

[20] Примечания: 20

Лесков Н.С. Там же.

4

Бурное время 60-х годов XIX века захватило все области общественной жизни. Правительственные реформы, отмена крепостного права знаменовали великие исторические перемены. Политические столкновения, повсеместно возрастающий авторитет революционной демократии, общий подъем интеллектуальной и духовной жизни России и одновременно — раскол во всех сферах общественного сознания, смятение умов и разброд мысли — вот что характерно для этого времени. Литература становится полем общественных браней. Журналы самых разных направлений и оттенков — славянофильская «Русская беседа», революционно-демократические «Современник» и «Искра», катковский «Русский вестник» и писаревское «Русское слово», «Время» братьев Достоевских и «Голос» А. Краевского — сталкиваются в напряженных спорах о частных и общих сословных, политических и других вопросах.

Публикация романов «Отцы и дети» И. С. Тургенева и «Что делать?» Н. Г. Чернышевского становится общественным явлением. Распро-

страняются пламенные прокламации «Молодая Россия», совершается злодейское покушение на Александра II, в сотнях списков расходятся бунтарские «Отщепенцы» Николая Соколова, в которых во имя достижения справедливости отвергается нравственность, и т. д.

Литература сосредоточивается на насущных социальных вопросах.

В очерках и рассказах писателей-разночинцев, стремящихся рисовать действительность «без прикрас» (Н. Г. Чернышевский), характерные сцены народной жизни иногда воссоздаются почти натуралистически. В то же время среди революционной демократии растет сознание того, что «новая русская литература не может существовать иначе, как под условием уяснения тех положительных типов русского человека, в отыскивании которых потерпел такую громкую неудачу Гоголь»[21].

Все отчетливей осознается гоголевская заповедь возвеличить «в торжественном гимне незаметного труженика» и «сказочное русское богатырство»[22].

---

[21] Примечания: 21
Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. М., 1970. Т. 9. С. 23.

[22] Примечания: 22
Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. Л., 1952. Т. 8. С. 280, 373.

В эти годы на страницах петербургской печати впервые стало появляться имя Лескова. Он начал с публицистики. Писатель словно спешил выплеснуть накопившийся запас наблюдений. Многие его очерки, фельетоны, публицистические статьи и литературно-критические обозрения были близки настроениям демократов-шестидесятников. Он писал, что, «насмотревшись на страдания меньших братий и узнав крепостного крестьянина не из книг, а лицом к лицу, всеми силами души возненавидел „это крепостное право“»[23]. Молодой журналист затрагивает острые социальные вопросы и нередко решает их в духе демократического радикализма. Он публикует статьи «О рабочем классе», «О найме рабочих людей», «Русские женщины и эмансипация», «О привилегиях», «О переселенных крестьянах». Его влечет к демократической молодежи. Он знакомится с критиком Г. Елисеевым и писателем Н. Слепцовым, с участниками сатирической «Искры» В. С. и Н. С. Курочкиными, М. Стопановским, встречается с Н. Шелгуновым, А. Левитовым, Д. Минаевым и др. Не случайно в записке канцелярии санкт-петербургского

[23] Примечания: 23
Северная пчела. 1862. 28 янв.

полицмейстера «О литераторах и разночинцах» в то время значилось: «Елисеев, Слепцов, Лесков. Крайние социалисты. Сочувствуют всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах»[24].

Н. Лесков не придерживался, однако, революционно-демократических воззрений, хотя испытывал их воздействие, и в первую очередь влияние Н. Г. Чернышевского. Позже он посвятил роману «Что делать?» сочувственную статью. Однако и в ней ясно выступают черты его идеологической неопределенности. Его глубокая и искренняя ненависть к крепостничеству имела в своей основе нравственные представления, черты христианского гуманизма. «Я приставал не к той вере, которая мучает, а к той, которую мучают»[25]. Он испытывал «недоверие к бунту», которое отчетливо отразила русская общественная мысль («русский бунт, бессмысленный и беспощадный» — А. Пушкин). Лесков скептически оценивал идеи революционеров, или, как он говорил, «нетерпеливцев», предвидя грозные

[24] Примечания: 24

Щукинский сборник, кн. 5. М., 1906. С. 509.

[25] Примечания: 25

Лесков Н. С. Письмо к П. В. Быкову от 26 июня 1890 г.// Рукописный отдел ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Фонд Быковых.

последствия грядущих социальных битв, хотя горячо сочувствовал многим демократическим идеалам. Он верил, что общество постепенно изменится под влиянием нравственных и религиозных идей, и надеялся, что народятся люди праведной жизни, они выйдут на арену истории и — сначала одни, потом все — пойдут по пути любви и добродетели. В молодом писателе жило неистребимое убеждение, что он должен писать о народе, о том чистом и светлом, что есть в глубоких народных традициях, при этом будучи в состоянии отличать свое народное «от крепко привитого чужеземного»[26]. Лесков стремился рассказать о людях, которых он знал и видел, о том, что передумал он в своей многотрудной жизни.

Плодотворной журнальной работой подготавливалось и художественное творчество Лескова.

Вслед за художественным очерком «Погасшее дело» следуют рассказы «Разбойник» и «В тарантасе» (1862). В 1863 году — «Ум свое, а черт свое». Затем «Овцебык», повесть «Житие одной бабы». Несколько позже — «Леди Макбет Мценского уезда» (1865) и «Воительница» (1866) и др.

---

[26] Примечания: 26

Лесков Н. С. Край погибели // Исторический вестник. 1881. № 11. С. 569.

Лесков-художник входит в литературу как глубокий знаток народного быта. В богатой талантами русской беллетристике ранее появлялись замечательные произведения о народе; читатели помнили народные сцены в произведениях Н. В. Гоголя, волнующие очерки Д. В. Григоровича, живо воссоздающие быт и нравы крепостнической деревни, «пристальные» очерки В. И. Даля и, говоря словами А. Герцена, поэтическую обвинительную речь против крепостного права — знаменитые «Записки охотника» И. С. Тургенева.

Лесков сочетал правдивое изображение жизни, свойственное обширной демократической литературе шестидесятников (Николаю и Глебу Успенским, Н. Каронину, Н. Слепцову и другим), и почти документальное использование фактов с глубоким психологизмом.

В его ранних рассказах, столь же разнообразных по темам, как и его публицистика, со всей определенностью прослеживается основная нить его творчества: житье-бытье разносословных русских людей. «...Он писал не о мужике, не о нигилисте, не о помещике, а всегда о русском

человеке, о человеке данной страны»[27],– верно заметил М. Горький. При этом писатель «прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется „душою народа“»[28].

В неторопливом лесковском повествовании вставали перед читателем зримые, яркие по своему житейски бытовому колориту картины исторического прошлого и современной писателю России, заставляющие задуматься о жизни. Так, горестный по существу рассказ о жалком «разбойнике» («Разбойник») направлял к размышлению не только о нем и ему подобных бедных скитальцах, но и об истинных разбойниках, о тех, которые «законно» грабят и бесчинствуют, пользуясь своей властью. В столкновении с реальной действительностью не выдерживает и кончает с собой искренний страдалец за униженных и оскорбленных Василий Петрович Богословский («Овцебык»), этот самозабвенно жертвующий собой донкихот, этот «агитатор искренний и бесстрашный».

Во всей неприглядности предстают в раннем творчестве Н. Лескова иные картины деревни

---

[27] Примечания: 27

Горький М. История русской литературы. М., 1939. С. 276.

[28] Примечания: 28

Горький М. Собр. соч.: в 30 т. М., 1953. Т. 24. С. 228.

и губительные последствия крепостнического уклада. В «Житии одной бабы» возникает обаятельный образ крестьянки Насти, загубленной людской корыстью; он противостоит страшному социальному бессердечию.

Иная жизнь развертывается перед читателем в повести «Леди Макбет Мценского уезда». Это «глухой» быт купеческой семьи с его грубой моралью рабского подчинения и серой скукой. В этой среде оказывается волею судеб страстная, порывистая купеческая жена Катерина Измайлова, сила характера которой под стать разве что известной шекспировской героине. Она без оглядки отдается чувству, и тем неизбежнее становится ее столкновение с купеческим «темным царством». Но сама она — плоть от плоти его. И вот, по наущению милого ей, но коварного и корыстного приказчика Сергея, приходит Катерина Измайлова к преступлению и своему страшному концу. Ее драма возбуждает и невольную мысль о противоестественном мире, в котором извращаются добрые человеческие чувства и нисходят до злодеяний и гибнут натуры, полные сил и страстного жизнелюбия.

В начальных беллетристических опытах отчетливо определился художественный взгляд

Лескова, утверждавшего истинную красоту «маленьких великих людей» (М. Горький) и представлявшего их во всей противоречивости непосредственных душевных движений и речи. Одновременно проявилась и «глубинная» наблюдательность писателя в изображении народной жизни, сокровенное сочувствие людям, и вместе с тем художественно отразилась вся сложность общественных отношений крестьянского мира.

5

Это случилось в 1862 году, когда на страницах «Северной пчелы» Лесков выступил со статьей, в которой, в частности, требовал от властей опровергнуть слухи о том, что пожары, возникавшие в Петербурге, связаны с появлением здесь революционных прокламаций. И до и после этого выступления Лескова подобные высказывания о злоумышленных зачинщиках пожаров печатали «Русский вестник», «Современная летопись», «Домашняя беседа», «Наше время» и другие издания. И хотя в лесковской статье не было обвинения революционной молодежи в поджигательстве, писатель оказался едва ли не единственным ответчиком за распространение упомянутых слухов: его обвинили в клевете.

Оглушенный этим неожиданным для себя приговором, Лесков тщетно пытался оправдаться, объяснить, что замысел его вовсе не соответствовал обидному обвинению. Затем он спешно уехал за границу, через Прибалтику, Варшаву, Краков прибыл во Францию, в Париж. Но обида не остывала. И он решил создать произведение о людях, подобных тем, которые так странно и неспра-

ведливо истолковали его статью, написанную с самыми добрыми намерениями. Он создал очень сложный по содержанию роман «Некуда» (1864), долго и мучительно проходивший через рогатки петербургской цензуры и искалеченный ею «как ни одно другое произведение», — с горечью писал Лесков (11, 509). В романе было немало правильных мыслей и верных картин. В нем писатель выступил в защиту многих добрых человеческих традиций, семейных и общественных, в нем, в частности, была и трезвая оценка «базаровщины». В романе «Некуда» писатель изобразил «честную горсть людей», «полюбивших добро... и возненавидевших ложь». Он создал, наконец, образ благородного и чистого революционера Райнера, которого Горький сравнивал с Рахметовым, и обаятельный образ Лизы Бахаревой, являющей собой, по словам Н. Шелгунова, «истинный тип современной живой девушки»[29], а также милого и наивно-преданного своим идеалам Юстина Помаду. Мысль о бесплодности революционных усилий направила Лескова к обличению нигилистов, и в романе возникли злые, карикатурные зарисовки некоторых лиц,

[29] Примечания: 29
Шелгунов Н. В. Литературная критика. Л., 1974. С. 262.

принадлежащих к демократическому движению: писательницы Евгении Тур, то есть графини Е. В. Салиас де Турнемир, редактора либеральной газеты «Русская речь» (в романе — маркиза де Бараль), а также писателей-демократов Н. Слепцова и А. Левитова (Белоярцев и Завулонов).

Позже Лесков так писал обо всем этом: «„Ошибки“ мои всегда были „искренние“, мне никогда не было препятствия взять направление более выгодное… на меня имели влияние временные веяния. Это мне вина и порок, но это происходило не ради корысти и расчета, а от моей молодости, страстности, односторонности взгляда и узости понимания. Большая ошибка была в желании остановить бурный порыв, который теперь представляется мне естественным явлением… Я был молод и не подозревал в „благородном консерватизме“ всей его подлости и себялюбия. В этом и есть моя ошибка; она сделана искренно, т. е. без дурных побуждений, но я ее себе не прощаю и не могу простить»[30].

Роман вышел в свет как раз тогда, когда на демократический лагерь обрушились правительственные репрессии: в 1862 году томился в Петро-

[30] Примечания: 30

Лесков Н. С. Письмо к П. В. Быкову от 26 июня 1890 г. // Рукописный отдел ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Фонд Быковых.

павловской крепости Д. Писарев, был присужден к отбыванию на каторге Н. Г. Чернышевский. В такой накаленной обстановке «прогрессисты» приняли «Некуда» с негодованием и объявили его враждебным всему демократическому движению. В статье Д. Писарева «Прогулки по садам российской словесности» прозвучало резкое осуждение романа. С этого времени Лесков надолго был отвержен от демократических изданий. После публикации его антинигилистического романа «На ножах» (1870–1871) положение писателя в литературе усугубилось. И хотя к этому времени Лесков уже был автором ряда замечательных рассказов и повестей, в которых проявился и его большой талант и демократизм взглядов, писаревская анафема почти до конца дней тяготела над ним.

«Лесков получил удар в сердце, совершенно не заслуженный им»[31] — так оценил эту драму М. Горький.

---

[31] Примечания: 31
Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. С. 229.

6

Но даже в таких условиях Лесков не изменил себе. Он был гражданином. В обстановке, в которой, кажется, можно потерять голову, писатель решительно отводит деловые предложения друзей, не соответствующие его воззрениям и его совести, не желает участвовать в изданиях полицейского характера, не хочет и думать о службе, сколько-нибудь связанной с учреждениями, не подходящими к его понятиям о свободе и достоинстве. В конце концов он резко отходит от тех, чье поведение и взгляды перестают вызывать у него доверие.

Несмотря на долгое изгнание из среды «прогрессистов», Лесков не примкнул к реакционным кругам. Много лет спустя, проявляя гражданское мужество, «без прошения», писатель покинул службу в Ученом комитете Министерства народного просвещения: он не хотел скрывать, что от него — тогда уже «крамольного» автора — желает избавиться начальство.

Тяжелые годы во многом повлияли на характер Лескова. Испытав на себе силу общественного мнения, он всю жизнь избегал «направлен-

чества» и не желал «приносить живых жертв бездушным идолам направлений»[32]. С неизменной настойчивостью подчеркивал писатель самостоятельность своих суждений. Он то спешил написать мнение, «ни от кого не занятое и никем не навязанное насильно» (10, 14), то негодовал против любых попыток превращения литературы в лавочку, «в которой выгодно торгуется тем или другим товаром» (10, 41). В другой раз с раздражением пишет о «поганой страсти приставать к направлениям, не имея их в душе своей» (10, 297), наконец, резко осуждает цензурные преследования, «всеподавляющий журнализм» (10, 362) и редакторский произвол. И везде словно идет «против течений». В корне парадоксального лесковского отрицания всех направлений лежала демократическая идея уважения к подлинной человеческой свободе.

[32] Примечания: 32

Лесков Н. С. Соколий перелет. Записки человека без направления // Литературное наследство. М., 1977. Т. 87. С. 47.

7

Обостренный интерес к национальной культуре и тончайшее ощущение всех оттенков народной жизни определили своеобразный художественный мир Лескова и самобытный, исполненный артистизма, неповторимый лесковский способ изображения. В этом художественном мире отразились поиски такого развития России, которое позволило бы опереться в первую очередь на национальные традиции и культурные ценности. Идея духовной преемственности, уважение к нравственным понятиям, выработанным народной массой, составляли силу и пафос Лескова и тот особый «общенародный» взгляд, который как бы исключал политическую оценку.

Им владело острое желание сохранить в период социально-политической ломки важнейшие национальные начала жизни, которые, как он полагал, должны быть утрачены нигилистами, «уродцами российской цивилизации» (10, 17).

В самобытности он видел неотъемлемую черту общественной и духовной свободы. Его произведения, отличаясь широким «захватом» действительности, одновременно были удивительно

проникнуты историей. Дума о «судьбе России», которой было одухотворено его творчество, сопутствовала мысли о герое, который сам по себе «звено в цепи людей, в цепи поколений»[33].

Иные писатели искали слово, чтобы определить внешность, характер и поступки персонажей. Лесков «писал не пластически, а — рассказывал»[34]: внутренний мир его героев, особенности натуры, каждое настроение ярко «отливались» в их собственном непринужденном повествовании, в языке, богатом разнообразными интонациями, насыщенном колоритными, необычными и в то же время удивительно точными словечками. «И мои герои, и я сам имеем свой собственный голос. Он поставлен в каждом из нас правильно или, по крайней мере, старательно...»[35] — замечал Лесков. Писатель, как правило, передает разговоры героев не «со стороны», а в непосредственном живом звучании, не авторской речью, а предоставляя героям самим рассказывать об их жизни. Ведь, с глубоким сочувствием и пониманием

---

[33] Примечания: 33
Горький М. История русской литературы. С. 276.

[34] Примечания: 34
Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. С. 236.

[35] Примечания: 35
Цит. по кн.: Фаресов А. И. Против течений. СПб., 1904.

относясь ко всякому человеку, Лесков мерил его мерой присущей каждому самобытности. Поэтому-то стремился он воспроизвести и самобытную индивидуальную речь, отраженный в ней образ мыслей и чувств героев.

Живое слово, сказанное героем, могло передать много сокровенного, чего не выскажет так живо и непосредственно самый добросовестный сторонний наблюдатель. Рассказчик Лескова — почти всегда выходец из народной среды — не может не пользоваться богатейшей кладовой народной мудрости и народного опыта — прибаутками, пословицами, короткими сказками, анекдотами, историйками. В них, как замечал писатель, «всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов».

У Лескова-художника было еще одно необычное свойство: он умел изображать людей так, как они сами себя воспринимали. Его многочисленные герои — выходцы из крестьян и разночинцев — в то время только начинали подниматься к активной гражданской жизни. И то, что они лишь смутно чувствовали, и то, что они еще не совсем ясно понимали, как бы помимо их сознания отражалось в их высказываниях. И как кстати был здесь их «собственный голос»!

Однажды устами одного из своих героев Лесков замечательно определил отношение художника к своему созданию: «Творение искусства — это лишь прозрачное стекло»[36], сквозь которое перед нами проступает душа его творца и т. д.

Душа Лескова отразилась в лучших и сокровенных его произведениях, таких, как «Соборяне», «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Пугало», и многих других, не менее замечательных.

[36] Примечания: 36

Лесков Н. С. Счастье в двух этажах // Литературное наследство. М., 1977. Т. 87. С. 111.

8

В начале 1870-х годов появляются одно за другим замечательные лесковские произведения: «Соборяне», «Запечатленный ангел», «Очарованный странник». Несколько позже — «Павлин», «На краю света» и др.

В «Соборянах» повествуется о жителях «старгородской соборной поповки», их обыденных заботах, глубоко личных переживаниях, житейских сомнениях, надеждах и поисках справедливости в жизни. Это люди самобытные, сильные духом и чистые сердцем, верящие в свой добрый идеал, противостоящие суетным и ничтожным «образованным обывателям» и тем, у которых нет идеала, а есть только мода, бездумное увлечение новыми веяниями.

Повествование о скромном житье-бытье самодумного протопопа Туберозова и его верной протопопицы Натальи Николаевны, о «непомерном» в своей вечной увлеченности дьяконе Ахилле, этом богатыре с душой младенца, и о сухоньком, тихом, обремененном многочисленным семейством, благостном, добром священнике Захарии Бенефактове, о княгине Марфе Протозановой и

обаятельных в своем природном простодушии ее слугах-карликах, а также о чиновных и нечиновных злоумных обывателях и нигилистах не случайно привлекает писателя. Внешние драматические события составляют здесь не главное. Таинственное обаяние лесковской хроники в умении зримо передать их духовную жизнь.

При удивительном разнообразии характеров эти симпатичные герои Лескова обладают богатой духовностью, то есть способностью к бескорыстному стремлению к истине, добру и красоте. Это придает им ту несомненную внутреннюю силу, которая постоянно проступает через симпатичные и мягкие черты их облика. Эта сила, озаряющая внешней, земной красотой их лица, — *сила добра.*

В «Соборянах» окончательно утвердилась в творчестве писателя тема деятельного правдолюбия — и возник Туберозов, говоря словами Лескова, «лицо цельное, сильное, поэтическое и вместе с тем вдохновенно гражданственное: человек разума… и живой веры».

Глубоко уязвлен протопоп заботами ума и сердца своего: то мыслит он, как сделать всех счастливыми в жизни семейной, то мучительно рассуждает о незавидном положении россиян,

служащих верой и правдой своему делу, то печалится о видимой несправедливости в решении житейских устроений в Старгороде. Но более всего скорбит он о делах всеобщих. Потому такой болью отзываются строки его дневника против пьянства в народе, поэтому так непреклонно, идя своей стезей, защищает он живой дух веры, проникнутой гражданскими заботами («не философ я, а гражданин; мало мне сего; нужусь я, скорблю и страдаю без деятельности»). Потому стремится отстоять достоинство своего сана, считая долгом защиту духовности на Руси и говоря о том, что «у нас в необходимость просвещенного человека вменяется безверие, издевка над родиной, в оценке людей — небрежение о святыне семейных уз, неразборчивость… когда нужна духовная самостоятельность». Именно высотой духа, полнотой гражданских скорбей и любовью к отечеству близка нам и ныне могучая фигура протопопа Савелия.

Несомненно, что художественное мастерство Лескова, искусство пластической лепки характеров достигло в хронике удивительного совершенства. И несомненно также, что мятежный протопоп, его добродушная протопопица и могучий дьякон Ахилла встают в ряд с теми образами

литературы, которые мы называем *мировыми.*

Публика зачитывалась его «Соборянами», свидетельствовал современник и биограф Лескова А. Фаресов, и «автор слышал со всех сторон похвалы себе»[37].

С этих пор начало наконец «устраиваться» положение Лескова в литературе.

В 1874 году писатель получает возможность служить. Его назначают членом особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения по рассмотрению книг, издаваемых для народа. С присущей ему ответственностью начинает Лесков работу; он рецензирует многочисленные издания и в принципиальных спорах о них, не считаясь с «мнением вышестоящих», отстаивает свою точку зрения. Поэтому не своей волей оставил он это место: независимость его поведения не могла нравиться начальству.

До самой своей смерти Лесков жил в Петербурге. Лишь в 1875 и 1884 годах он выезжал за границу да изредка навещал добрых знакомых; несколько раз встречался с Л. Н. Толстым.

За внешним однообразием его жизни скрывалась огромная и напряженная творческая работа.

---

[37] Примечания: 37

Фаресов А. И. Умственные переломы в деятельности Н. Лескова // Исторический вестник. 1916, № 3. С.791.

Он оставался страстным и непримиримым, когда речь шла о его убеждениях. И все это делало его жизнь сложной и полной драматических столкновений. Главным же для него оставалось его литературное творчество, в котором все более ощущается самостоятельный взгляд и собственный голос.

«Собственный голос» рассказчика звучит и в одной из замечательнейших повестей Лескова «Очарованный странник» (1873). Здесь, как ни в одном другом произведении писателя, высвечено то затейливое мироотношение, которое, как он понимал, свойственно русскому человеку.

Под иноческой одеждой повествователя, Ивана Северьяновича Флягина, напоминающего собеседникам легендарного русского богатыря, «дедушку Илью Муромца», скрыта могучая жизнеутверждающая натура дерзновенного скитальца, всю свою жизнь самовластно испытывающего свою судьбу, с Божьей помощью преодолевающего свое самовластие, смиряющего свою гордыню, но нисколько не потерявшего при этом чувства собственного достоинства, душевной широты и отзывчивости.

Сама фигура странника связана с художественной традицией русского фольклора и древней

литературы, с образами калик перехожих, искателей счастливой доли. Да и поэтика этой повести в значительной мере восходит к *хождениям,* одному из наиболее распространенных жанров древнерусской литературы.

Необыкновенная жизнь Флягина, его скитания по градам и весям родной земли удивительно соответствуют его деятельному, но мирному характеру. Замечателен и весь облик чистосердечного героя: неуемная сила духа, богатырское озорство, неистребимая жизненная сила (ведь он «всю жизнь свою… погибал, и никак не мог погибнуть»), и широта его души, и отзывчивость к чужому горю… Лесков, однако, не идеализирует Ивана Флягина. Писатель отмечает и проявление его дикости, и порывы анархического своеволия, обнаруженного им в молодые годы. От всего этого герой постепенно «очищается», обретает в своем отношении к жизни истинную народную мудрость.

Неодолимо привлекает в этом простом и вместе с тем удивительном человеке и то, как ощущает он прекрасное, как очарован он красотой мира. Это очарование миром проявляется и в захватывающем восхищении, для которого находятся у этого простолюдина такие пронзительные и

непосредственные слова. И о чем бы ни говорил он, чем бы ни восхищался — обнаженная душа его трепещет в живом слове. Вот одна только встреча с красавицей Грушей — и весь герой перед нами: «А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидел, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощенье, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет… „Вот она, — думаю, — где настоящая-то красота, что природы совершенство называется…“»

Кстати было бы заметить, что в этой картине мы видим очарование героя земной, зримой красотой, земное ее ощущение. Но Грушу он станет называть своей сестрой: его чувство слишком велико, чтобы низводить его к земному, плотскому вожделению; оно сопоставимо лишь с наслаждением созерцания божественного совершенства, той спасительной красоты, которая являет собой высшую духовную ценность. Ибо как духовная

ценность любовь героя въяве осуществилась. И ее высочайшая истина, ее свет может лишь затмиться тенью земной, плотской страсти. «Природы совершенство» обращает наш взор к духовному. Эта мысль едва ли не основополагающая для Лескова: он верит в преображающую силу добра и красоты.

Глубоко духовно и ощущение героем Родины и кровной связи со своим народом.

Черты эти проявляются постоянно. Великое чувство заключено в его незатейливом рассказе об одиночестве в татарском плену: «…тут глубине тоски дна нет… Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой, отколь ни возьмется, обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь».

Лесков изображает героя много пережившего, перестрадавшего и обретающего не только личный, но и огромный народно-исторический опыт в суждениях о мире. И поэтому далеко не случайны слова Ивана Северьяновича, как бы подводящие итог его размышлениям о прожитой жизни: «…мне за народ очень помереть хочется». И воистину, что может быть прекраснее, чем отдать жизнь свою за свой народ!..

Иван Северьянович — один из тех, кого можно

отнести к ищущим праведного пути. Но немало вокруг и обретших этот путь или вступивших на него людей праведных. Им свойственно и ощущение нравственной красоты, и неприятие развращающего равнодушия. Их живые примеры не только вдохновляют на благородные порывы, но и придают «строгое и трезвое настроение» их «здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле».

«У нас не переводились, да и не переведутся праведные» — так начинает Лесков рассказ «Кадетский монастырь» (1880), в котором «люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем», предстают в своей многотрудной обыденной жизни воспитателей и наставников юных кадет. Их глубоко мудрое отношение к воспитанию содействовало становлению в воспитанниках того духа товарищества, «который придает всякой среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести».

Праведники «Кадетского монастыря», офицеры-воспитатели соблюдают прежде всего не

военную субординацию (хотя она не чужда им), но исходят из долга непостыдной совести, привычно соразмеряя каждый свой шаг и обыденный образ жизни с высшим понятием о человеке, отвечающем за свои дела перед Богом. Это внутреннее состояние ответственности перед тем, кто все видит и предвидит, кто все знает и обладает правом конечного нелицеприятного суда, — это состояние одухотворяет их поступки, дает им высокое наслаждение жить свободно и независимо от случайных вмешательств и соблазнов, делает их устойчивыми против страха, политических мнений века, открытых и скрытых корыстных влияний, короче — от всего того, что может свернуть их с истинного пути свободного и ставшего привычкой подавления своеволия и от уклонения от высшего долга под влиянием жизненной суеты и мелочей быта.

Такое раз и навсегда свободно выбранное направление жизни делает их неуязвимыми во всех случаях, когда земной суд, мнения людей, руководящихся политически практическими установлениями и суждениями, и даже раздраженный выговор государя, ставит их перед выбором: поступать по совести или подчиниться земной субординации, земным авторитетам и

обстоятельствам. Они всегда предпочитают путь духовной свободы.

Восхищаясь художественным мастерством Лескова, нужно помнить, что в «Кадетском монастыре» он сохранил очень многие реальные события и облик обаятельных людей, вроде генерал-майора Перского, бригадира Андрея Петровича Боброва и корпусного доктора Зелинского, верой и правдой служивших своему делу.

«Привидение в Инженерном замке» (1882) также относится к рассказам, имеющим документальную основу, но глубокий обобщающий смысл, далеко выходящий за рамки необыкновенного случая, связанного с кощунственной детской шалостью у гроба.

Смысл повествования вырисовывается в сознании читателя постепенно, и не сразу приходит глубокое понимание происшедшего. Боязнь внешнего, вне человека находящегося привидения, которым пугали друг друга кадеты, на время затмила страх Божий, то есть внутреннее чувство совестливого, человеческого отношения к ближнему своему. И даже доброе внушение батюшки сразу не всколыхнуло их сознание, а его упоминание о *сером человеке*, воплощающем *совесть*, которую стыдно тревожить «дрянной

радостью о чужой смерти», вызвало на первых порах опять-таки страх перед внешним врагом, а не перед врагом внутренним, не перед греховностью дурной мысли и дурного дела. И лишь пережив глубокое потрясение, участники описанного происшествия обратились к главному, внутреннему врагу — и победили его. «С этого случая, — говорит герой рассказа, — всем нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились и страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее».

9

Создание ярких национальных характеров, изображение людей, замечательных своей душевной чистотой и всечеловеческим обаянием, было едва ли не главным в лесковском творчестве. У Лескова были «свои» герои, необыкновенные, чудаковатые, но искренние и цельные. Он умел находить кондовые русские характеры, людей с обостренным чувством чести, высоким сознанием своего долга, непримиримых ко лжи и лукавству и одухотворенных человеколюбием. Он рисовал тех, кто упорно, самоотверженно несет «бремя жизни» и готов всегда постоять за правду.

Художественное открытие Лескова проявилось в том, что благодаря созданной им галерее характеров русский человек стал восприниматься не только как представитель нации, но и как воплощение ее самобытности.

Революционные демократы желали видеть в героях времени рыцарей революционных идей, смелых обличителей неправды, защитников «эмансипации личности», отвергающих старый этап жизни, самоотверженных классовых

борцов. Лесков изображал «праведников». Они олицетворяли стихийное стремление к добру и тем нравственным идеалам, которые таятся в глубоких и чистых родниках народного, православного сознания и в конечном счете питают высокие идейные стремления всех передовых, мыслящих деятелей. Мучительно верил в силу добра этот писатель, всю «жизнь потративший на то, чтобы создать „положительный тип“ русского человека»[38].

Лесков считал, что «глубочайшая суть» человека «там, где его лучшие симпатии» (11, 523). Эта вера заставила писателя искать такие нравственные понятия, которые охватывали бы целиком человеческую жизнь. Писатель не отрицал героизма. Он высоко ценил и порывы самоотверженной смелости, и величие героического подвига. Но ему казалось еще более значительным, чтобы в человеке присутствовало постоянство «ежедневной доблести» — способность «прожить изо дня в день праведно долгую жизнь, не солгав, не обманув, не слукавив, не огорчив ближнего»[39].

---

[38] Примечания: 38

Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. С. 184.

[39] Примечания: 39

Лесков Н. С. О героях и праведниках // Церковно-общественный вестник. 1881. № 129. С. 5.

Герои Лескова живут и действуют в родной глухомани, в русской провинции, на периферии общественной борьбы. Но это вовсе не означало, что Лесков уходил от современности. Как остро переживал писатель насущные нравственные проблемы! Он был убежден, что человек, который «умеет смотреть вперед без боязни и не таять в бесплодных негодованиях ни на прошлое, ни на настоящее» (рассказ «Шерамур», 1879), достоин называться творцом жизни. Эти люди, писал он, «стоя в стороне от главного исторического движения… *сильнее других делают историю*».

Удивительно непохожие друг на друга, они объединены одной до поры скрытой, но неизменной думой о судьбах родины. Мысль о России, о народе в переломные минуты духовных исканий со щемящей силой пробуждается в их сознании, возвышая до эпического величия их скромные жизненные деяния. Все они «своему отечеству верно преданные», «к своей родине привержены».

Спустя почти десять лет в одном из очерков о «незаметном и замечательном движении среди фабричных рабочих» писатель не преминул отметить как органические свойства русского характера любовь к родине и одухотворенность

желанием себя «положить на пользу России и всей вселенной»[40].

[40] Примечания: 40
Лесков Н. С. Обнищеванцы // Сб. Русская рознь. М., 1881. С. 324.

10

Лесков умел показать и глубоко скрытые за внешней неприглядностью богатства души человеческой. В «Тупейном художнике», «Пугале», «Человеке на часах», «Фигуре», «Левше» и «Томлении духа» душевное обаяние героев не сразу становится очевидным. Но тем значительней оказывается открытие!

Обо всех подобных людях лучше всего сказал сам Лесков: «Они невероятны, пока их окружает легендарный вымысел, и становятся еще более невероятными, когда удается снять с них этот налет и увидать их во всей их святой простоте. Одна одушевлявшая их *совершенная* любовь поставляла их выше всех страхов и даже подчинила им природу, не побуждая их ни закапываться в землю, ни бороться с видениями, терзавшими св. Антония» («Несмертельный Голован»).

Все эти герои были поистине родными самому писателю. И даже когда он судил их суровым судом беспристрастного художника, его сердце было с ними. «Ему не надо было говорить, что он любит простой народ и ставит высшею заботою истинно образованного человека заботу о народ-

ном счастии и его духовной свободе… — скажем мы словами писателя, — все эти чувства жили в его сердце, как органические ее проявления»[41]. Он верил и умел показать, что народ способен глубоко «понимать общественную пользу и служить ей без подгона, и притом служить с образцовым самопожертвованием», даже тогда, «когда спасение отечества представлялось невозможным»[42].

Никогда не иссякала убежденность самого Лескова в том, что на Руси много людей «дивных своею высотою и величием характеров» и сильна вера народа «совершать свое великое историческое призвание». «У нас есть люди, — писал Лесков, — которые в буквальном смысле совершали и совершают чудеса, свидетельствующие о необычайной способности русского человека устроять изумительные дела… В моих долгих скитаниях по России я видел немало таких людей, а о

[41] Примечания: 41

Лесков Н. С. Соколий перелет. Записки человека без направления // Литературное наследство. Т. 87. С. 56–57.

[42] Примечания: 42

Лесков Н. С. Энергическая бестактность // Православное обозрение. Т. 11. С. 138–139.

других слыхал от очевидцев»[43]. Возвышенные «в народном духе» стремления героев объясняют и свойственное всем им почти непроизвольное самопожертвование. Романтический герой Лескова велик именно в силу своей обыденности, когда в нем обнаруживаются «естественные» человеческие порывы деятельности во имя ближнего.

Удивительным и неожиданно прекрасным оказывается, например, бедный крестьянин Селиван, которого местные жители нарекают то разбойником, то колдуном, то просто темным человеком, пугалом, злым лесным духом. Но вот одна за другой происходят несколько встреч — и этот всеми преследуемый, презираемый, оболганный, оклеветанный молвой крестьянин оказывается совсем иным: доброжелательным, отзывчивым и бескорыстно-честным.

Вернув забытый у него на постоялом дворе ларец с деньгами владелице, он решительно отказывается от предлагаемого вознаграждения и даже не может взять в толк, что возможно поступить как-то иначе. Эта органическая честность, глубокое чувство справедливости не по закону, а по совести вполне объяснимо только православ-

[43] Примечания: 43

Лесков Н. С. О сводных браках и других немощах // Гражданин. 1875. № 4. 26 янв. С. 90.

ным миросозерцанием героя.

Любовь к народу, вера в него дали возможность писателю увидеть и постигнуть «вдохновенность» народных характеров. Среди них знаменитый Левша — воплощение природной русской талантливости, трудолюбия, терпения и веселого добродушия. «Где стоит „левша“, — замечал Лесков, подчеркивая обобщающую мысль своего произведения, — надо читать «русский народ» (11, 220). Сказ о Левше, подковавшем стальную блоху, вскоре стал в России преданием, а сам Левша — символом удивительного искусства народных умельцев. Однако же и здесь суровая жажда правды избавила автора от идеализации. Мотив попранного человеческого достоинства усугубляется властью, которую имеет над Левшой «анархически-хмельная стихия! Что может быть досадней, плачевней и нелепей его поведения на корабле при возвращении из Англии».[44] Вместе с тем глубоко трагична судьба этого героя: он гибнет бессмысленно и безвестно, как нередко случалось в русской истории, — погибали удивительные богатыри мысли и духа, пренебреженные современниками и горько

[44] Примечания: 44

Жегалов Н. Н. Лесков и Горький // Сб. Лесков и русская литература. М., 1988. С. 224.

оплакиваемые потомками.

Не менее трагична жизнь другого талантливого самородка — тупейного художника Аркадия («Тупейный художник»). История его жизни, его любовь к крепостной актрисе Любови Анисимовне, не уступающая по силе и обаянию чувствам шекспировских Ромео и Джульетты, и одновременно ужасающе страшные картины крепостничества — все это воспроизведено Лесковым в рассказе старой няньки, вспоминающей о своей артистической молодости и горькой драме юности. Бесправие и бесчеловечность прошлых порядков обращали читателей к современному им беззаконию послереформенной России. По-лесковски душевно звучат последние слова няньки, обращенные к своему воспитаннику: «А ты, хороший мальчик... никогда не выдавай простых людей, потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди все ведь страдатели...» Не это ли слово — «страдатель» — лучше всего подходит и к рядовому Постникову («Человек на часах»), одержимому отзывчивостью и готовому к простодушному самопожертвованию? И тем страшнее и возмутительнее неправый суд, свершенный над ним для спокойствия начальства.

Все эти герои, великие своей человечностью,

«веселые великомученики любви своей ради», «не уходят от мира», но «неразумно лезут в густейшую грязь земной жизни, где погряз человек»[45]. В их сознании неизменно присутствуют мечта, «искра Божия», идеал. Все отражается в их настроениях в соответствии с духом времени то как святой «завет предков», то как ощущение долга «перед Богом и людьми», воплощающего, по существу своему, мысль о вечной народной мечте — справедливости.

К 1880-м годам многие темы, поднятые в творчестве Лескова, стали особенно актуальны. Утверждение высоких образцов нравственности, стремление воссоздать замечательных и самоотверженных героев сделались целью литературы. К решению этих насущных задач обратились в это время, каждый по-своему, Лев Толстой и Глеб Успенский, Чехов и Короленко, Гаршин и начинающий свой творческий путь Максим Горький.

Последние полтора десятилетия жизни Лескова совпали с эпохой общественного перелома в России. После периода «великих надежд» наступили годы политической реакции, и «литература решительно не могла остаться при прежних

---

[45] Примечания: 45
Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. С. 231–232.

задачах»[46]. Всякий значительный писатель в это время вынужден был «определить характер… собственных отношений» к новым явлениям жизни, к новым силам «не перед формальным судом, а перед судом своей собственной совести»[47]. Пристальное исследование глубинной правды народной жизни и поиски идеала, настроения разочарования и еретические попытки «обновления» религии — все это отражалось в литературе тех лет.

Лесков создает в этот период рассказы и повести: «Грабеж», «Инженеры-бессребреники», «Колыванский муж», «Юдоль» и др. В глубоко правдивых, зачастую горьких повествованиях о российской жизни он, как и ранее, находит людей праведной жизни, вроде Дмитрия Брянчанинова, Михаила Чихачева и Николая Фермора («Инженеры-бессребреники») или тети Полли и Гильдегарды («Юдоль»), воплотивших представления писателя об истинном человеколюбии. Одновременно появляются его замечательные легенды, как бы продолжающие рассказы о праведниках: «Совестный Данила», «Лев старца

---

[46] Примечания: 46
Щедрин Н. (М. Е. Салтыков). О литературе. М., 1952. С. 611.

[47] Примечания: 47
Там же. С. 613–614.

Герасима», «Прекрасная Аза», «Повесть о богоугодном дровоколе», «Гора», «Невинный Пруденций».

Сюжеты этих легенд писатель заимствует из древнерусского Пролога, содержащего предания о великих делах святых и подвижников. В век «безгеройности» обращение к легендарным характерам давних времен представлялось Лескову более убедительным. В раннехристианских преданиях пытается он найти «вечные» нравственные каноны, приложимые к современности, отыскать ответы на волнующие вопросы. Обращение к Прологу имело также исторический интерес: в легендах, расцвеченных богатым воображением художника, возникали колоритные картины далекого прошлого.

Сюжеты Пролога служили писателю «рамкой» для изображения жизненно убедительных характеров, но *легендарные* происшествия передавались «через призму» лесковского героя, человека 1880-х годов, жаждущего найти в древних христианских преданиях *«глубочайший смысл жизни»* (11, 233).

Изображение легендарных подвижников, являющих примеры самоотверженности, высокой честности и верности своим обетам, в конечном счете было обращено к современности.

Мыслью о насущных заботах времени проникнута и затейливая, завораживающая яркой лубочной образностью сказка о стародавних временах «Час воли Божией» (1890). Сюжет сказки подсказал Лескову Л. Н. Толстой. «Чудесная мысль моя была, — писал он, — три вопроса: какое время важнее всего? какой человек? и какое дело? Время — сейчас, сию минуту; человек тот, с которым сейчас имеешь дело, и дело то, чтобы спасти свою душу, то есть делать дело любви»[48]. Да и в наши дни не может не тревожить всякого думающего и честного человека забота героя этой сказки — короля Доброхота, задумавшего устроить, чтобы в царстве его «всем людям стало легостней». Долго ли, коротко ли — узнал король о трех пустынниках, ведающих, как его заботу решить. Кому же, кроме них, давно о себе не помышляющих и только о благе государства Доброхотова усердно молящихся, такая мысль воистину откроется? Но узнал от них Доброхот лишь три вопроса заветных. А ответы получил от девицы — «до всех ласковой, до себя беззаботной». Оказались эти простые, как правда Божия, ответы такими, что убоялся их король Доброхот

[48] Примечания: 48

Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: серия III: письма. М.: ГИХЛ., 1953. Т. 53. С. 198–199.

и повелел скрыть от постороннего слуха и только записать их приказал и «положить на дно в золотой ларец и убрать в теремной подвал под семь замков и за семью печатями». Православному сознанию понятно, что эти «семь замков и за семью печатями» — семь смертных грехов, которые мешают по-доброму устроить дела так, чтобы всем стало лучше, это: гордыня, любовь к имуществу, разврат, ненависть, чревоугодие, злопамятность и беспечность (равнодушие). Не будь этих грехов — все бы и устроилось в сказочном царстве, да и не в нем только…

Герой рассказа «Дурачок», Панька, пример удивительной цельности изображения духовного, глубоко православного человека, живущего по Евангелию и находящего счастье в любви и самопожертвовании за ближнего, он воистину озабочен чужой заботой и мучается чужой мукой, а потому рад помочь ближнему, готов пострадать за него. И жестокосердный татарский хан Джангар, и его соратники, пораженные Панькиной чистосердечностью, решают: «Нельзя нам ему вредить… он ведь, может быть, праведный».

Однако далеко не всегда таково отношение окружающих к праведному герою. Постоянное томление духа другого удивительного пра-

ведника — немца-учителя по прозвищу Коза («Томленье духа», 1890) — кончается его «бунтом против тьмы века сего», против лжи, и он, одинокий, неприкаянный, отставленный от места лишь за то, что сказал правду, переживает истинное счастье чистой совести, счастье от того, что мог «делать Божье дело». Последняя встреча детей со своим учителем навсегда остается в их памятливом сердце, напоминая об истинной свободе, к которой приходят через томление духа об Истине.

11

В конце 1880-х — начале 1890-х годов «трудный рост» Лескова-художника знаменуется новым расцветом его творческих сил. Наряду с рассказами о «праведниках», легендами и сказками писатель обращается к произведениям, в которых жизнь предстает в юмористическом и сатирическом освещении. Он весьма критически относился к русской пореформенной действительности и вообще ко всему, что видел дурного в своем отечестве. «Он любил Русь, всю, какова она есть... — писал о Лескове Горький, — но он любил все это, не закрывая глаз, — мучительная любовь, она требует все силы сердца и ничего не дает взамен»[49].

Лесков мог по справедливости сказать о себе то, что написал в одном из писем: «...я не мщу никому и гнушаюсь мщения, а лишь ищу правды в жизни...» Он был верен «святому влечению служить родине словом правды и истины».

Густая кутерьма действительности не укладывалась в рамки излюбленных Лесковым

---

[49] Примечания: 49
Горький М. Собр. соч.: в 30 т. Т. 24. С. 233.

«житийных» повествований. Судьба подавляющего большинства дорогих ему героев, начиная с чудаковатого правдоборца Овцебыка и кончая Фигурой, драматична и тяжела. В этом, разумеется, была закономерность: трезвый ум художника отмечал несовместимость счастья благородных людей с царящим в обществе почти фантастическим беззаконием. Поэтому вместе с замечательными характерами людей праведной жизни возникает в творчестве Лескова фантасмагория бытовых юмористических зарисовок, в которых просвечивают тревога и негодование автора.

Постепенный переход от невольных «двусмысленных» союзов с «твердостоятелями» к убежденному сочувствию «прогрессистам» не мог не повлиять на направление художественной мысли Лескова. Напрасно желал он быть доброироничным. Резкие оценки действительности, заключенные в форму едких анекдотов, остросатирического гротеска и открытого обличения, все определеннее звучат в «Заметках неизвестного» (1884), «Полунощниках» (1891), «Загоне» (1893), «Зимнем дне» (1894) и других произведениях. Словно прорвалось трудно сдерживаемое им негодование: «Эти вещи не нравятся публике…

Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть давится моими рассказами, да читает...»[50]

В «Заметках неизвестного» возникает фантасмагорическая мозаичная картина нравов. Проходят перед читателем типы находчивых казнокрадов, лицемерных святош, придурковатых пастырей, мнимомудрых знатоков и «приснoблаженных» правдоборцев...

Авторское возмущение «российскими гнусностями» особенно проявилось в «Полунощниках», «Загоне», «Зимнем дне», «Человеке на часах», «Вдохновенных бродягах».

Однако, зная народ, не мог Лесков даже в отчаянии не сохранить глубокую веру в его силы. И даже среди отвратительных типов «Зимнего дня» предстают настоящие, честные люди. И звучит в речах героини рассказа Лидии вера в будущее: «Полноте... что это еще за характеры! Характеры идут, характеры зреют, — они впереди, и мы им в подметки не годимся, они придут, придут! „Придет весенний шум, веселый шум!“... Мы живы этою верой!..»

Лесков был беспощаден ко всем своим ошибкам и слабостям. За два года до смерти в «посмертной

---

[50] Примечания: 50

Цит. по кн.: Фаресов А. И. Против течений. СПб., 1904. С. 382.

просьбе» писатель с присущей ему бескомпромиссностью безжалостно оценил свою жизнь: «На похоронах моих прошу никаких речей обо мне не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто хочет порицать меня, тот должен знать, что я сам себя порицал»[51].

Его похоронили 23 февраля (7 марта) 1895 года в Петербурге, на Волковой кладбище, при завещанном им молчании…

Из воспоминаний людей, хороню и близко знавших Лескова, возникает перед нами человек яростно честный перед самим собой, отзывчивый и добрый, страстно увлекающийся, «непомерный» и мужественно трезвый в отношении к своим ошибкам и просчетам, обнаженно-искренний и вспыльчивый и одновременно мучительно стремящийся смирить порывы собственной несдержанности.

Наружность его не могла не обратить на себя внимание, вспоминала одна из его современниц. У него был «большой открытый лоб и приятная улыбка. Особенно хороши были своим выражением его небольшие карие глаза: умные,

---

[51] Примечания: 51

Цит. по кн.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. М., 1904. Т.1. С. 32.

живые, проницательные; иногда лукаво-насмешливые, они легко загорались огнем, когда он начинал сердиться или слышал пошлость и несправедливость, которых не могла выносить его благородная душа»[52].

Сквозь все заблуждения и перипетии жизни Н. С. Лесков пронес сокровенную преданность народу, истинный патриотизм, проникновенную любовь к России и веру в то, что будущее принадлежит добру. Дума о России всегда присутствовала в его сознании и сознании его героев то как заветы предков, то как размышления о народе, то как идея вечной народной мечты о справедливости и счастье для всех и каждого.

В. Ю. Троицкий

---

[52] Примечания: 52

Борхсениус Е. И. Мои воспоминания о Николае Семеновиче Лескове // В мире Лескова: сб. ст. М., 1983.

Очарованный странник

Глава первая



Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму*[53] и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле*. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на добрых чухонских* лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился

[53] Примечания: 53

Объяснения слов и выражений, отмеченных знаком *, даны в комментариях на с. 262–270.

продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять, для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутина или, в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то, часто здесь путешествующий, ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за гру-

бость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

— Какая же на это последовала резолюция?

— М… н… не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

— И прекрасно сделал, — откликнулся философ.

— Прекрасно? — переспросил рассказчик, очевидно, купец и притом человек солидный и религиозный.

— А что же? По крайней мере, умер, и концы в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него, и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою

смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись и, вероятно, все подивились: как он мог до сих пор оставаться незамеченным? Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета — так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике, с широким монастырским ременным поясом, и в высоком черном суконном колпачке. Послушник* он был или постриженный монах — этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки*, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему спутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина* и в поэме графа А. К. Толстого*.

Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор»*.

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.

— Это все ничего не значит, — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх, по-гусарски закрученных седых усов. — Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

— А вот кто-с, — отвечал богатырь-черноризец, — есть в московской епархии в одном селе попик, прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли, — так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета*.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя тому не верить, и поверили.

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

— Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница, — пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что, действительно, этот попик запи-

вашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить и все убивается и оплакивает. «До чего, — думает, — я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, — говорит, — мне только и осталось; тогда, по крайней мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина, я не без души, — куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?», потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергий*.

Владыко и говорят:

— Ты ли это, пресвятой отче Сергие?

А угодник отвечает:

— Я, раб Божий Филарет.

Владыко спрашивают:

— Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?

А святой Сергий отвечает:

— Милости хощу.

— Кому же повелишь явить ее?

А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в

большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот… такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить… Скачут… числа им нет сколько рыцарей… несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони, что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх* в таком же уборе, и куда домахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте, — говорит, — их: теперь нет их молитвенника», — и проскакал мимо; а за сим стратопедархом — его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все кивают владыке грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! — он один за нас молится». Владыко, как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился. «Виноват, — говорит, — в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидии* за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложив-

ших молюсь...» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика. «Ступай, — изволили сказать, — и к тому не согрешай, а за кого молился — молись», — и опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них Создателю докучать, и Тот должен будет их простить.

— А почему же *«должен»*?

— А потому, что «толцытеся»; ведь это от Него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц разве никто не молится?

— А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На Троицу не то на Духов день*, однако, кажется, даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются.

Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.

— Вы иеромонах* или иеродиакон*?

— Нет, я еще просто в рясофоре*.

— Все же ведь уже это, значит, вы инок?

— Н… да-с; вообще это так почитают.

— Почитать-то почитают, — отозвался на это купец, — но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу,

да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров*, что ли? — снова спросил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же: солдат, или вахтер*, или помазок — чей возок?

— Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

— Значит, кантонист*? — сердясь, добивался купец.

— Опять же нет.

— Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

— Я *конэсер.*

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах* состоял для их руководствования.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна

не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я… я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я, как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правою кулаком между ушей по башке да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее, у иной, даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется — она и усмиреет.

— Ну а потом?

— Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идет?

— Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и выщелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англича-

нин Рарей* приезжал, — «бешеный усмиритель» он назывался, — так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

— С Божиею помощию-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, — говорю, — это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лощину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу:

тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в однех шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого, храброго князя Всеволода-Гавриила* из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: *«Чести моей никому не отдам».* В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более, яко в два фунта*, а в другой — простой муравный* горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, — говорю, — скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! Или не слышите? Что я вам приказываю — то вы сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали)! Как, — го-

ворят, — это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, я его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел, да как заскриплю зубами — они сейчас в одно мгновение узду сдернули да сами кто куда видит бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза, и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щелк… Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку… Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка… Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем усерднее он носится, тем

и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и наконец оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снедь!» — да как дерну его книзу — он на колени передо мною и пал и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался, и ездил, но только скоро издох.

— Издох, однако?

— Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

— Что же, вы служили у него?

— Нет-с.

— Отчего же?

— Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык — для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?

— Хотел у меня секрет взять.

— А вы бы ему продали?

— Да, я бы продал.

— Так за чем же дело стало?

— Так… Он сам меня, должно быть, испугался.

— Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?

— Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет, — я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? — это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что…» — да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы

с ним уже и не видались.

— Поэтому вы к нему и не поступили?

— Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

— А вы что же почитаете своим призванием?

— А не знаю, право, как вам сказать… Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

— А когда же вы в монастырь пошли?

— Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

— И тоже призвание к этому почувствовали?

— М… н… н… не знаю, как это объяснить… Впрочем, надо полагать, что имел-с.

— Почему же вы это так… как будто не наверное говорите?

— Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

— Чьею же?

— По родительскому обещанию.

— И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

— Всю жизнь я свою погибал и никак не мог погибнуть.

— Будто так?

— Именно так-с.

— Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.

— Отчего же, — что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.

— Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.

— Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

Глава вторая

Бывший конэсер Иван Северьяныч господин Флягин начал свою повесть так:

— Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии*. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был громадный, великий домина, флигеля для приезду, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании, и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха — конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика — кормовик, чтобы с гумна на варки* корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя при-

ходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил и в царский проезд один раз в седьмом номере был и старинною синею ассигнациею* жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее *молитвенный сын,* значит, она, долго детей не имея, меня себе у Бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого, что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто Голован. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с форейтором* были шестерики и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие*, донские, — все это были из приводных коней, которые по ярмаркам по-

купались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари — это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе — все дивятся и даже от стен шарахаются, а все только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет… И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато, которые оборкаются* и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих

такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестериком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик форейтором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками* звали потому, что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск — всё вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье… ну, то есть, просто сказать, ужасть! Устали они никогда не знали: не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст* из деревни до Орла или назад домой таким же манером — это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на форейторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских форейторов требовалось, — самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «дддиди-и-тт-

ты-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседлывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь, да еще норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это форейторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, а граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П… пустынь*. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там, на казенной дороге, нечисть и ракиты, одни

корявые прутья торчат; а у монахов к пустыни дорожка в чистоте, разметена вся и подчищена и по краям саженными березками обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный… Словом сказать — столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя. Так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку… что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и с версту все это звучал и до того разгорелся, что, как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасался, крепко-накрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами, да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он

сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз… в вожжи ногами замотался…

Мне и отцу моему, да и самому графу сначала-то смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу у моста зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается… Ближе подъехали, я гляжу: он весь серый, в пыли и на лице даже носа не значится, а только трещина и из нее кровь… Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне

в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

— Чего тебе от меня надо? Пошел прочь!

А *он* отвечает:

— Ты, — говорит, — меня без покаяния жизни решил.

— Ну, мало чего нет, — отвечаю. — Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, — говорю, — тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено.

— Кончено-то, — говорит, — это, действительно, так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее *моленый сын*?

— Как же, — говорю, — слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала.

— А знаешь ли, — говорит, — ты еще и то, что ты *сын обещанный*?

— Как это так?

— А так, — говорит, — что ты Богу обещан.

— Кто же меня ему обещал?

— Мать твоя.

— Ну, так пускай же, — говорю, — она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал.

— Нет, я, — говорит, — не выдумывал, а ей

прийти нельзя.

— Почему?

— Так, — говорит, — потому, что у нас здесь не то что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь, — говорит, — так я тебе дам знамение в удостоверение.

— Хочу, — отвечаю, — только какое же знамение?

— А вот, — говорит, — тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы.

— Чудесно, — отвечаю. — Согласен и ожидаю.

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинею в Воронеж, — к новоявленным мощам* маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли, — и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом, лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

— Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись

скорей у господ в монастырь, — они тебя пустят.

Я отвечаю:

— Это с какой стати?

А он говорит:

— Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь.

Думаю, ладно: надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

— Смотри, Голован, осторожнее.

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловки были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был — как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и, прах его знает куда, на небо созерцает. Эти астрономы в корню — нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою форейтор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу:

своих, подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовских вожжей, ни моего кнута не чует, весь рот в крови от удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело да хлоп — и весь экипаж сразу так и посунулся… Тормоз лопнул. Я кричу отцу: «Держи! Держи!» И он сам орет: «Держи, держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит… вожжа оборвалась… А впереди та страшная пропасть… Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис… не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков

так сдушил, что они захрипели, и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе и здоровый мужик говорит мне:

— Ну, что, неужели ты, малый, жив?

Я отвечаю:

— Должно быть, жив.

— А помнишь ли, — говорит, — что с тобою было?

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было — не знаю.

А мужик и улыбается.

— Да и где же, — говорит, — тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели — расшиблись, а тебя это словно какая неведомая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз, как на салазках, и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим — ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну а теперь, — говорит, — если можешь, вставай, по-

спешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть.

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

— Вот, — говорит, — мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

— Проси у меня, Голован, что хочешь, — я все тебе сделаю.

Я говорю:

— Я не знаю, чего просить!

А он говорит:

— Ну, чего тебе хочется?

А я думал-думал да говорю:

— Гармонию.

Граф засмеялся и говорит:

— Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию, — говорит, — ему сейчас же купить.

Лакей сходил в лавки и приносит мне на ко-

нюшню гармонию:

— На, — говорит, — играй.

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я сам не знаю, зачем себе гармонию выпросил и тем первое самое призвание опроверг и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

Глава третья

Не успел я, по сем облагодетельствовании своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилунилось мне завесть у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей — голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились. Особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются… Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели… Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные… Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмот-

релся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся — все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел, — нет, пропал, да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну, ничего: другой в гнезде остался, а этого, дохлого, откуда ни возьмись, белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да, думаю себе, прах с ней, — пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

Ну, думаю, нет, зачем же, мол, это так делать? Да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал, — так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут… Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз

она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил, и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? И положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек. Она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

Хорошо, думаю, теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над

собой в руке зонтик, а сама кричит:

— Ага, ага! Вот это кто! Вот это кто!

Я говорю:

— Что такое?

— Это ты, — говорит, — Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен?

Я говорю:

— Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?

— А как же ты, — говорит, — это смел?

— А она, мол, как смела моих голубят есть?

— Ну, важное дело твои голубята!

— Да и кошка, мол, тоже не большая барыня.

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

— Что, — говорю, — за штука такая — кошка!

А та стрекоза:

— Как ты эдак смеешь говорить?! Ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала! — да с этим ручкою хвать меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу да ее метлою по талии.

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу управителю судить, и он рассу-

дил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить… Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить… это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся християны, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталося скакнуть, да и вся б недолга была… Я бы все это от моего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется, — белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

— Что это, — говорит, — ты, батрак, делаешь?

— А тебе, мол, что до меня за надобность?

— Или, — пристает, — тебе жить худо?

— Видно, — говорю, — не сахарно.

— Так чем своей рукой вешаться, пойдем, —

говорит, — лучше с нами жить, авось иначе повиснешь.

— А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?

— Воры, — говорит, — мы и воры, и мошенники.

— Да; вот видишь, — говорю, — а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?

— Случается, — говорит, — и это действуем.

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое — стой на дорожке на коленях да тюп да тюп молоточком, камешки бей, а у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмехаются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все. «А еще, — говорят, — спаситель называешься: господам жизнь спас!» Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

Глава четвертая

Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

— Чтоб я, — говорит, — тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать, однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, знавши в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному, и другому коню на шеи, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию*, а цыган мне дает всего один серебряный целковый

и говорит:

— Вот тебе твоя доля.

Мне это обидно показалось.

— Как, — говорю, — я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?

— Потому, — отвечает, — что такая выросла.

— Это, — говорю, — глупости: почему же ты себе много берешь?

— А опять, — говорит, — потому, что я мастер, а ты еще ученик.

— Что, — говорю, — ученик, — ты это все врешь!

Да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

— Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец!

А он отвечает:

— И отстань, братец, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься.

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю писарю, а тот мне и говорит:

— Дурак ты, дурак! На что тебе объявляться? Есть у тебя десять рублей?

— Нет, — говорю, — у меня один целковый есть, а десяти рублей нету.

— Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть, серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе — серьга?

— Да, — говорю, — это сережка.

— Серебряная?

— Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания* серебряный.

— Ну, скидавай, — говорит, — их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев*, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит.

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателеву печать приложил и говорит:

— Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай, — говорит, — и кому еще нужно — ко мне посылай.

«Ладно, — думаю, — хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет». Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на Торжок, чтобы

наниматься. Народу наемного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и все так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит:

— Скажи правду: ты ведь беглый?

Я говорю:

— Беглый.

— Вор, — говорит, — или душегубец, или просто бродяга?

Я отвечаю:

— На что вам это расспрашивать?

— А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен.

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

— Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты, — говорит, — верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки

беру.

Я ужаснулся.

— Как, — говорю, — в няньки? Я к этому обстоятельству совсем не сроден.

— Нет, это пустяки, — говорит, — пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить.

— Помилуйте, — отвечаю, — тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?

— Пустяки, — говорит, — ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится.

— Да что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен.

— А я, — говорит, — на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дои и тем молочком мою дочку воспитывай.

Я задумался и говорю:

— Конечно, мол, с козою отчего дитя не воспитать, но только все бы, — говорю, — кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь.

— Нет, ты мне про женщин, пожалуйста, — от-

вечает, — не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да и в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?

Я подумал: нет, уж назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое — все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам, в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпца зацветет, я ее сейчас мукой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман бе-

лье полоскать, — и коза-то и та к нам привыкла, бывало, за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять*, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

— Я, — говорит, — тут чем причинен? Снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит.

Я понес, а лекарь говорит:

— Это аглицкая болезнь*, надо ее в песок сажать.

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу, и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторяю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет,

так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит; слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! Иди, брат Иван!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскликались! Оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щиплет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего… Ух как скучно! Пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! Пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! Пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдем! Тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду?» А он вдруг опять облаком

сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди, такие дикие, сарацины*, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове-королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, послышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь… взмело песок тучею — и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и, весь как алою зарею облитый, большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколышется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну, — думаю, — опять это мне про монашество пошло!» И с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу, вижу: дама девочку мою из песку выкопала и схватила ее на руки и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:

— Что надо?

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет:

— Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!

Я говорю:

— Ну так что же в этом такое?

— Отдай, — говорит, — мне ее.

— С чего же ты это, — говорю, — взяла, что я ее тебе отдам?

— Разве тебе, — плачет, — ее не жаль? Видишь, как она ко мне жмется.

— Жаться, мол, она глупый ребенок, — она тоже и ко мне жмется, а отдать я ее не отдам.

— Почему?

— Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена, — вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить.

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

— Ну хорошо, — говорит, — ну не хочешь дитя мне отдать, так по крайней мере не сказывай, — говорит, — моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда, на это самое место, с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла.

— Это, мол, другое дело, — это я обещаю и ис-

полню.

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила и бегит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует, и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку и кисет с табаком и расческу.

— Кури, — говорит, — пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить.

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того… замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана… злою мачехою и того… этого мужа своего она не того… говорит, никак не могла полюбить. А того… этого… другого-то, ремонтерато… что ли… этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему… предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими… ну, как их?., с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же, опять, я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя

жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

— Ну, что же, мол, делать: если ты, презрев закон и релегию, свой обряд изменила, то должна и пострадать.

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала все мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит:

— Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай, — говорит, — что я тебе скажу: нынче, — говорит, — он сам сюда к нам придет.

Я спрашиваю:

— Кто это такой?

Она отвечает:

— Ремонтер.

Я говорю:

— Ну так что ж мне за причина?

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я, то есть, ей ее дочку

отдал.

— Ну уж вот этого, — говорю, — никогда не будет.

— Отчего же, Иван? Отчего же? — пристает. — Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?

— Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне.

Она плакать, а я говорю:

— Ты лучше не плачь, потому что мне все равно.

Она говорит:

— Ты бессердечный, ты каменный!

А я отвечаю:

— Совсем, мол, я не каменный, а такой же, как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный — взялся хранить дитя и берегу его.

Она убеждает, что ведь посуди, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

— Опять-таки, — отвечаю, — это не мое дело.

— Неужто же, — вскрикивает она, — неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?

— А что же, — говорю, — если ты, презрев закон

и релегию…

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтер такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет… силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто… Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, Бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

Глава пятая

Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздразнить, чтобы он на меня нападать стал? И взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему — та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

— Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги, — говорит, — раскинем, у него глаза разбежатся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка. — И с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит: — Вот, — говорит, — тут ровно тысяча рублей, — отдай нам дитя, а деньги бери и ступай куда хочешь.

А я нарочно невежничаю, не скоро ему отвечаю; прежде встал потихонечку, потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

— Нет, — говорю, — это твое средство, ваше благородие, не подействует, — а сам взял вырвал

у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю: — Тубо, пиль, апорт, подними!

Он огорчился, весь покраснел да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцию, что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так, слегка пихнул, он и готов — полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

— Вот тебе, — говорю, — и храбрость твою под ногой придавлю.

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик, видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее да с кулачонками ко мне борзо кидается… Разумеется, и этак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

— Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хвать за другую и говорю:

— Ну, тяни его: на чию половину больше оторвется.

Он кричит:

— Подлец, подлец, изверг! — не этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает… И вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти… А в эту самую минуту от города вдруг, вижу, бегит мой барин, у которого я служу, и в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

— Держи их, Иван! Держи!

«Ну как же, — думаю себе, — так я тебе и стану их держать! Пускай любятся!» Да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

— Нате вам этого пострела! Только уже теперь и меня, — говорю, — увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по беззаконному паспорту.

Она говорит:

— Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить.

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитом-

ку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да и деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? Ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит?

А в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

— Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя.

Я говорю:

— Почему же?

— А потому, — отвечает, — что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет.

— Нет, у меня был, — говорю, — паспорт, только фальшивый.

— Ну, вот видишь, — отвечает, — а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу, и ступай с Богом куда хочешь.

А мне, признаюсь, ужасть как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил;

но делать нечего, говорю:

— Ну, прощайте, — говорю, — покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что.

— Что, — спрашивает, — такое?

— А то, — отвечаю, — что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил.

Он рассмеялся и говорит:

— Ну, что это, Бог с тобой, ты добрый мужик.

— Нет-с, это, — отвечаю, — мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил.

— Это, — отвечает, — правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем *вас* и повелеваем *вас* почитать и уважать».

— Ну, позвольте же, — говорю, — я этого никак дальше снесть не могу…

— А что же, — говорит, — теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь.

— Вынуть, — говорю, — нельзя, а по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить. — И взял обе щеки перед ним надул.

— Да за что же? — говорит. — За что же я тебя

стану бить?

— Да так, — отвечаю, — для моей совести, чтобы я не без наказания офицера своего государя оскорбил.

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.

Он спрашивает:

— Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?

А я говорю:

— Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, — говорю, — меня с обеих сторон ударить. — И опять щеки надул.

А он вдруг вместо того, чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

— Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут.

— А! Это, мол, иное дело! Зачем их огорчать?

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота и стал и думаю: «Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло, с тех пор как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею… «Шабаш, —

думаю, — пойду в полицию и объявлюсь, но только, — думаю, — опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут; дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру* за реку на степь, где там стоят конские косяки и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимаются, ездовых коней пробуют. Разные — и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посереди их на пестрой кошме сидит тонкий как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядываюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

— Нешто ты, — говорит, — его не знаешь: это хан Джангар*.

— Что, мол, еще за хан Джангар?

А тот и говорит:

— Хан Джангар, — говорит, — первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески*, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь.

— Разве, — говорю, — эта степь не под нами?

— Нет, она, — отвечает, — под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине, — говорит, — хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и шихзады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться.

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит! Просто статуй великолепный, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части

сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навытяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости все вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: «дескать, антик!» — и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтораста, и так далее, всё большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я, как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на

лебедушку, да и ну ее гонять, — сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и, точно птица, летит, и не всколыхнет, а как он ей к холочке принагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, змея! — думаю себе. — Ах ты, стрепет степной, аспидский! Где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил ее татарище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталь сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты, — думаю, — милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел, — но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами невесть какая цена слагалась. Но и это еще было все ничего, как вдруг тут, еще торг не был кончен, и никому она не досталась, как видим, из-за Суры, от Селиксы*, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит:

— Моя кобылица.

А хан отвечает:

— Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают.

А тот всадник — татарище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу:

— Сто монетов, больше всех даю!

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры, с другой стороны, еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей и говорит:

— Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит? А он отвечает:

— Это, — говорит, — дело зависит от очень большого хана Джангарова понятия. Он, — говорит, — не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда,

распродаст, а потом в последний день, михорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня или двух, что конэсеры не знать что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится, и еще деньги за то получает. Эту его привычку знавши, все уже так этого последыша от него ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел…

— Диво, — говорю, — какая лошадь!

— Подлинно, диво, он ее, — говорит, — к ярмарке всереди косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский Ишим* в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал; и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет; а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?

— А что, мол, такое: из-за чего нам биться?

— А из-за того, — отвечает, — что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих

двух азиатов возьмет.

— Что же они, — спрашиваю, — очень, что ли, богаты?

— И богатые, — отвечает, — и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худищий, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев, — оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают.

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступилися от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и все хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и все трясутся да кричат.

Один кричит:

— Я даю за нее кроме монетов еще пять голов (значит, пять лошадей)!

А другой вопит:

— Врет твоя мордам, я даю десять!

Бакшей Отучев кричит:

— Я даю пятнадцать голов!

А Чепкун Емгурчеев:

— Двадцать!

Бакшей:

— Двадцать пять!

А Чепкун:

— Тридцать!

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет… Чепкун крикнул тридцать, и Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар, я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню», — и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормошат их, Чепкуна и Бакшея, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю соседа:

— Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?

— А вот, видишь, — говорит, — этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили.

— Как же, — спрашиваю, — можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может.

— Отчего же, — отвечает, — азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять — с общего согласия наперепор пустят.

Я любопытствую:

— Что же, мол, такое это значит «наперепор»?

А тот мне отвечает:

— Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается.

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчеев оба будто стишали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

— Сгода́! — дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

— Сгода́! Поладили!

И оба враз с себя и халаты долой, и бешметы, и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли и в одних широких полосатых портищах остались и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны* степные, и сидят.

В первый раз мне этакое диво видеть доводи-

лось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

— Сейчас, бачка, сейчас.

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки, и сравнял их в руках, и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите, — говорит, — обе штуки ровные».

— Ровные, — кричат татарва, — все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают.

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «Подождите» — и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшею, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три… И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли этак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко

жмут, а правыми с нагайками порются… Ух как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже выстолбенели, и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца:

— Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?

— Да, — отвечает, — тоже такой поединок, только это, — говорит, — не насчет чести, а чтобы не расходоваться.

— И что же, — говорю, — они этак могут друг друга долго сечь?

— А сколько им, — говорит, — похочется и сколько силы станет.

А те всё хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшея перепорет», а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет», и, кому хочется, об заклад держат — те за Чепкуна, а те за Бакшея, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы и на спины посмотрят и по каким-то примерам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит:

— Ах, квит*, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшея собьет.

А я говорю:

— Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят.

А тот мне отвечает:

— Сидят-то, — говорит, — они еще оба ровно, да не одна в них повадка.

— Что же, — говорю, — по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает.

— А вот то, — отвечает, — и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его запорет.

«Что это, — думаю, — такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же, — размышляю, — должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

— Скажи, — говорю, — милый человек, отчего ты теперь за Бакшея опасаешься?

А он говорит:

— Экой ты пригородник глупый! Ты гляди, — говорит, — какая у Бакшея спина.

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

— А видишь, — говорит, — как он бьет?

Гляжу и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

— Ну а теперь сообрази, как он нутрём действует?

— Что же, мол, такое нутрём? Я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

— Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет.

— Что же, — спрашиваю, — стало быть, Чепкун надежней?

— Непременно, — отвечает, — надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, и спиночка у его как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрохвала* поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на

худой спине кожичка, как на жареном поросенке, трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет и он Бакшея запорет. Понимаешь ты это теперь?

— Теперь, — говорю, — понимаю.

И точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?

— А еще самое главное, — указует мой знакомец, — замечай, — говорит, — как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет — это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил — это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет.

Я все эти его любопытные приметы на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна, и в Бакшея, и все мне стало самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели, и губы веревочкой собрались и весь оскал открыли… И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул, и всё раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти,

совсем в обмороке. Ну, тут мой знакомый говорит: «Шабаш, пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

— Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка — совсем пересек Бакшея, садись — теперь твоя кобыла.

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит:

— Твоя, твоя, Чепкун, кобылица; садись, гони, на ней отдыхай.

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего — виду болезни не дает; положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот, — думаю, — все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет», — а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне:

— Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет.

Я говорю:

— Чему же еще быть? Все кончено.

— Нет, — говорит, — не кончено, ты смотри, — говорит, — как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское.

Ну а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

Глава шестая

И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый* жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видели когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит, — по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны, — настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой несся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

— Как он ваш стал? — перебили рассказчика удивленные слушатели.

— Так-с, мой, по всем правам мой, но только на

одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакой коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа, как морковь, красная, и весь он будто огородина какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, — говорит, — по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону, да и где им с этим татарином сечься: он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упросил, говорю:

— Сделайте такую милость: мне хочется.

Ну, так и сделали.

— Вы с этим татарином… что же… секли друг друга?

— Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.

— Значит, вы татарина победили?

— Победил-с, не без труда, но пересилил его.

— Ведь это, должно быть, ужасная боль.

— Ммм… Как вам сказать… Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на опух бить, чтобы кровь не спущать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыстнет, я сам под нагайкой спиною поддерну и так приноровился, что сейчас шкуру себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

— Как запороли, неужто совершенно до смерти?

— Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало, — отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик, и, видя, что слушатели все смотрят на него если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

— Видите, — продолжал он, — это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно, потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударов? — перебили рассказчика.

— А вот наверное этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, я и сбился на минуту и уже так без счета пущал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам как кукла на меня вперед и упал; посмотрели, а он мертвый… Тьфу ты, дурак эдакий! До чего дотерпелся! Чуть я за него в острог не попал. Татарва — те ничего: ну убил и убил, — на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно, как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

— Ну вам что такого? Что вам за надобность?

— Как, — говорят, — ведь ты азиата убил?

— Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?

— Он, — говорят, — тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя, — говорят, — по христианству надо судить. Пойдем, — говорят, — в полицию.

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция — нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина да за другого. Шепчу им:

— Спасайте, князья, сами видели, все это было на честном бою…

Они сжались и пошли меня друг за дружку перепихивать и скрыли.

— То есть, позвольте… Как же они вас *скрыли*?

— Совсем я с ними бежал в их степи.

— В степи даже!

— Да-с, в самые Рынь-пески.

— И долго там провели?

— Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.

— Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

— Нет-с; что же там может нравиться? — скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

— Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы, — говорят, — тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь — коней нам лечи и бабам помогай».

— И вы лечили?

— Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.

— Да вы разве умеете лечить?

— Как бы вам это сказать… Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит — я сабуру* дам, или налганного корня*, и пройдет, а сабуру у них много было: в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.

— И обжились вы с ними?

— Нет-с, постоянно назад стремился.

— И неужто никак нельзя было уйти от них?

— Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем

виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.

— Ау вас что же с ногами случилось?

— Подщетинен я был после первого раза.

— Как это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были *подщетинены*?

— Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, — говорят, — нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем. Ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

— Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?

— Очень просто-с. Повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать, тебе тогда легче будет» — и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы

туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, дён несколько держали руки связавши, — все боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили. «Теперь, — говорят, — здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никогда не уйдешь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

— Что же это, — говорю, — вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу.

А они говорят:

— Ничего, Иван, ничего, что ты по пустому делу обижаешься?

— Какое же, — говорю, — это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?

— А ты, — говорят, — приснoровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи.

«Тьфу вы, подлецы!» — думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал — скука смертная одолела, и стал приспосабливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили:

— Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь.

— Экое несчастие! И как же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможною: степь ровная, дорог нет и есть хочется… Три дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод и воды нет… Как идти?.. Так и упал, а они отыскали меня и взяли и подщетинили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетиниванья, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

— Попервоначалу даже очень нехорошо, — отвечал Иван Северьяныч, — да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

— Теперь, — говорят, — тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принесть, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери, — говорят, — брат, себе теперь Наташу, — мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай.

Я говорю:

— Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало.

Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! Женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцать… Сказали мне:

— Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее.

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее? — спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да, — отвечал он, — эта вышла поутешнее,

только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разно… Как ей, бывало, вздумается: на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать, — шлепнешься, да и сам рассмеешься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? Верно, хотели нравиться вашим женам?

— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонял от Отучева, мне еще две дали.

— Позвольте же, — запытал опять один из слушателей, — как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в

емгурчеевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья и уланы, и ших-зады, и мало-зады, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сек?

— Да-с, тот самый.

— Как же это?.. Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего. А только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал… «Эх, — говорит, — Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел! Я, — говорит, — было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

— Никогда бы, — отвечаю ему, — ты этого не дождал.

— Отчего?

— Оттого, что наши князья, — говорю, — слабодушные и не мужественные и сила их самая ничтожная.

Он понял.

— Я так, — говорит, — и видел, что из них, — го-

ворит, — настоящих охотников нет, а все только если что хотят получить, так за деньги.

— Это, мол, верно: они без денег ничего не могут.

Ну а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил. Набрал я с собою сабуру и налганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

— И вы верхом ехали?

— Верхом-с.

— А как же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

— Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщетинят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетиненный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибал.

— Но не погибли?

— Нет-с, не погиб.

— Сделайте же милость, расскажите, что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

— Извольте.

Глава седьмая

Как Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

— Что, — говорят, — тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить. Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим.

Я отказался.

— На что, — говорю, — мне их больше? Мне больше не надо.

— Нет, — говорят, — ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тятькой кричать будут.

— Ну, — говорю, — легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут.

Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно

учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

— Как-с?

— Этих новых жен своих вы любили?

— Любить?.. Да, то есть вы про это? Ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего… сожалел.

— А ту девочку, что прежде, молоденькая-то такая, у вас в женах была? Она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет, скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех первых жен дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парою принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их все так называете Кольками да Наташками?

— А это по-татарски. У них все: если взрослый русский человек — так *Иван,* а женщина — *Наташа,* а мальчиков они *Кольками* кличут, так и

моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? Почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны.

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

— Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну, ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

— А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

— Нет-с, дела никакого, а тосковал: очень домой, в Россию, хотелось.

— Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

— Нет-с, домой хочется… Тоска делалась. Осо-

бенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи… в одну сторону и в другую — все одинаково… Знойный вид, жестокий; простор — краю нет; травы буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет… Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой, отколь ни возьмется, обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

— Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием; солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит… Одурение от этого блеску даже хуже, чем от ковыля, делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишь-ся. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну! А тут

все одно блыщание… Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет, — суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или, по-здешнему, дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать… Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чириканье… А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий персичек или чилизник… И когда на восходе солнца туман росою садится, будто прохладой пахнет и идут от растения запахи… Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенесть можно, но на солончаке не приведи господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там — погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит — не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи* и,

глядишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так, как барана, тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит — татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят… И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь — и глянуть не на что: кони нахохрятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются, — это и называется *тюбенъкуют*… Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо — сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить — возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это

еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно, по крайней мере, запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь, в деревне, к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи с зашеиной варят, жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут и с семинаристами, и все навеселе; а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет, в конторе тоже управитель с нянькой вышлет, попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит, пьяненький, в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, — говорит, — мне в газетную бумажку, я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги», — он не сердится, а возьмет так просто и, не завернувши, своей попадейке передаст и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства па-

мятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастия отлучен, и столько лет на духу не был, и живешь невенчанный, и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и… дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться… и молишься — так молишься, что даже снег инда под коленками протает и, где слезы падали, утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний. Но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы своей монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

— А все прошло, слава богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташек и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любо-

пытство с полною откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

Глава восьмая

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена? Он поведал об этом следующее сказание:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидать свое отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуй бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю: что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и *плененных*», а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? Разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоша не неверую, а смущаюсь и сам молиться не стал.

«Что же, — думаю, — молить, когда ничего от

того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумятятся.

Я говорю:

— Что такое?

— Ничего, — говорят, — из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять.

Я бросился, говорю:

— Где они?

Мне показали на одну юрту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собрались много ших-задов и мало-задов, имамов и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову Божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги и зарыдал. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба векликнули:

— А что? А что? Видите! Видите, как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета.

А татары отвечают, что это, мол, ничего не дей-

ствует: это — ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

— Нет, — говорю, — я точно русский! Отцы, — говорю, — духовные! Смилуйтесь, выручите меня отсюда! Я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу.

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: всё проповедуют.

Я думаю: «Ну что же на это роптать: они люди должностные и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтися», — и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особливой ставке, и кинулся к ним, и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю, и прошу их:

— Попугайте, — говорю, — их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я, — говорю, — здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть.

А они отвечают:

— Что, — говорят, — сыне, выкупу у нас нет, а пугать, — говорят, — нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем.

— Так что же, — говорю, — стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?

— А что же, — говорят, — все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у Бога много милости, может быть, он тебя и избавит.

— Я, мол, молился, да уже сил моих нет, и упование отложил.

— А ты, — говорят, — не отчаивайся, потому что это большой грех!

— Да я, — говорю, — не отчаиваюсь, а только… как же вы это так… мне это очень обидно, что вы, русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите.

— Нет, — отвечают, — ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид: наши земляки все послушествующие. Нам все равны, все равны.

— Все? — говорю.

— Да, — отвечают, — все, это наше научение от

апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся… это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, и по апостолу Павлу, — говорят, — рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать.

И показывают мне книжку.

— Вот ведь, — говорят, — видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано, — это всё мы столько людей к нашей вере присоединили!

Я с ними больше и говорить не стал и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем. Пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит:

— У нас на озере, тятька, человек лежит.

Я пошел посмотреть, вижу: на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают, обчертит да дернет, так шкуру и снимет, а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх, — думаю, — не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь, ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли и закопал и «Святый Боже» над ним пропел; а куда другой его товарищ делся, так и не знаю, но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

— А эти миссионеры даже и туда, в Рынь-пески, заходят?

— Как же-с, они ходят, но только всё без пользы без всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им Бога смирного проповедывают. Это попервоначалу никак не годится, потому что азият смирного Бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет.

— А главное, надо полагать, идучи к азиятам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

— Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел да ничего при себе не принес; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытать станут и запытают.

— Вот разбойники!

— Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришел и тоже о вере говорил. Человек хороший и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохмотках, что вся плоть его видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним попервоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по Талмуду читать, какие у них бывают святые… очень занятно… А тот Талмуд, говорит, написал раввин Иовозбен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли, — как взглянули, сейчас все умирали, через что Бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин, Иовозбен Леви! То хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрез тебя все мои жидки могут умирать. Не на то, — говорит, — я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошел-ну ты за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть!» А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготовлял себе агнца, ко-

торый был печен огнем, с небеси нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем… Азиятам это очень понравилось — про ученого раввина, и они долго сего жидовина слушали, а потом приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к ним, свои деньги закопал? Жидовин, батюшки, как клялся, что денег у него нет, что его Бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори им да говори: где деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подает:

— Стой, — говорят, — давай мы его по горло в песок закопаем: может быть, ему от этого проходит.

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернела, но дети ее стали пужаться, так срубили ее и в сухой колодец кинули.

— Вот тебе и проповедуй им!

— Да-с, очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были.

— Были?!

— Были-с. Его потом волки тревожить стали и шакалки и всего по кусочкам из песку повытаскивали и наконец добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подметки семь монет выкатились. Нашли их потом.

— Ну а как же вы-то от них вырвались?

— Чудом спасен.

— Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой, этот Талафа, — тоже татарин?

— Нет-с, он другой породы, индийской, и даже не простой индиец, а ихний бог, на землю сходящий.

Упрошенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал нижеследующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

Глава девятая

— После того как татары от наших мисанеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригонили к нам два человека, ежели только можно их за человеков считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пестрый, а весь красный, и на башке острая персианская шапка, а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый — всё ящички какие-то при себе имел, и сейчас, чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержалось

— лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы* пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем — не сказывают, но только всё татарву против русских подущают. Слышу я — этот рыжий, — говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «натшальник» и плюнет. Но денег с ними при себе не было, потому что они, азияты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью, перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают, согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

— Гоните, — говорят, — а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится.

Татары того бога не знают и сомневаются, что он им сделать может в степи, зимою, с своим огнем, — ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам

сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней ужасть как интересно, и все мы хотя немножко этой ужасти боимся, а рады посмотреть, что такое от этого индийского бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с женами и с детьми под ставки рано и ждем… Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как вьюга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю:

— Цыть! Заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали.

Те зацмоктали, и стало опять тихо, а в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел… зашипело и опять лопнуло…

«Ну, — думаю, — однако, видно, Талафа-то не шутка!»

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер, — как птица огненная,

выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь необыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет — вдруг все желтое сделается и потом синее станет.

По становищу, слышу, все как умерло. Не слыхать этого, разумеется, никому нельзя, этакой пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это, можно разуметь, кони шарахаются и все в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки, или индийцы, куда-то пробегли, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем… Кони как зынули на то да и понеслись… Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят: «Алла! Алла!» — да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память… Вот тут как все наши батыри угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика: что там такое? Вижу в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки; я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не выжгло, и вверх полетела, а там — бббаххх! — звездами рассыпало… «Эге, — думаю себе, — да это, должно, не бог, а

просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали», — да опять как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились и ничком лежат, кто где упал, да только ногами дрыгают… Я было попервоначалу и сам испугался, но потом как увидал, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел и с тех пор, как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

— Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтурмин-адью-мусью!

Да еще трубку с вертуном выпустил… Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли… Огонь погас, а они все лежат, и только нет-нет один голову поднимет да и опять сейчас мордою вниз, а сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю:

— Ну, что? Признавайся, чего тебе, проклятому, — смерти или живота? — потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

— Прости, — говорят, — Иван, не дай смерти, а дай живота.

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и все прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно, уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу:

— Мать Пресвятая Владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!

А сам татар строго спрашиваю:

— В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?

— Прости, — говорят, — что мы в твоего Бога не верили.

«Ага, — думаю, — вон оно как я их пугнул», да говорю: «Ну уж нет, братцы, врете, этого я вам за противность релегии ни за что не прощу!» Да сам опять зубами скрип, да еще трубку распечатал.

Эта вышла с ракитою… Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

— Что же, еще одна минута — и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего Бога верить!

— Не губи, — отвечают, — мы все под вашего Бога согласны подойти.

Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

— Тут же, в это самое время, и окрестили?

— В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы

они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей, над прорубью, прочел «во имя Отца и Сына» и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи и велел им, того убитого мисанера чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

— И они молились?

— Молились-с.

— Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

— Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.

— Ну а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?

— А потом я нашел в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лежа, этой едкостью пятки растравливал и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась, и вся та щетина,

которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усерднее за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи* пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей еще острастки самый большой фейверк пустил и ушел…

— Но они вас не догнали?

— Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

— И все пешком?

— А то как же-с, там ведь не проезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретешь. Мне на четвертый день Чувашии показался, один пять лошадей гонит, говорит: садись верхом. Я поопасался и не поехал.

— Чего же вы его боялись?

— Да так… Он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было разобрать, какой он религии,

а без этого на степи страшно. А он, бестолковый, кричит:

— Садись, — кричит, — веселей, двое будем ехать.

Я говорю:

— А кто ты: может быть, у тебя бога нет?

— Как, — говорит, — нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть бок.

— Кто же, — говорю, — твой бог?

— А у меня, — говорит, — все бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок… все бок. Как у меня нет бок?

— Все!.. Гм… все, мол, у тебя бог, а Иисус Христос, — говорю, — стало быть, тебе не Бог?

— Нет, — говорит, — и он бок, и Богородица бок, и Николаи бок…

— Какой, — говорю, — Николаи?

— А ито один на зиму, один на лето живет.

Я его похвалил, ито он русского Николая Чудотворца уважает.

— Всегда, — говорю, — его поиитай, потому ито он русский. — И уже совсем было его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался.

— Как же, — говорит, — я Николаиа поиитаю: я ему на зиму пущай хоть не кланяюсь, а на лето

ему двугривенный даю, итоб он мне хорошенько коровок берег, да! Да еще на него одного не надеюсь, так Керемети* бынка жертвую.

Я и рассердился.

— Как же, — говорю, — ты смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой целого бынка! Пошел прочь, — говорю, — не хочу я с тобой!.. Я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь.

И не поехал — зашагал во всю мочь; не успел опомниться, смотрю, к вечеру третьего дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю: что за народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть, но вижу, что эти люди пищу варят… «Должнобыть, — думаю, — христиане». Подполоз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют, — ну, значит, русские!.. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

— Пей водку!

Я отвечаю:

— Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык.

— Ну, ничего, — говорят, — здесь своя нация, опять привыкнешь — пей!

Я налил себе стаканчик и думаю: «Ну-ка, Господи благослови, за свое возвращение!» — и выпил, а ватажники пристают, добрые ребята.

— Пей еще! — говорят. — Ишь ты без нее как запичкал ся.

Я и еще одну позволил и сделался очень откровенный, все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил, и все мне так радостно было, что я опять на святой Руси, но только под утро этак, уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

— А паспорт же у тебя есть?

Я говорю:

— Нет, нема.

— А если, — говорит, — нема, так тебе здесь будет тюрьма.

— Ну, так я, — говорю, — я от вас не пойду, а у вас небось тут можно жить и без паспорта?

А он отвечает:

— Жить, — говорит, — у нас без паспорта можно, но помирать нельзя.

Я говорю:

— Это отчего?

— А как же, — говорит, — тебя поп запишет, если ты без паспорта?

— Так как же, мол, мне на такой случай быть?

— В воду, — говорит, — тебя тогда бросим на рыбное пропитание.

— Без попа?

— Без попа.

Я, в легком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется.

— Я, — говорит, — над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем.

Но я уже очень огорчился и говорю:

— Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надо мною часто шутить, так я и до другой весны не доживу.

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь, и пришел в Астрахань; заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала,

уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия…

Я говорю:

— Как же так, батюшка, я было… столько лет не причащамшись… ждал…

— Ну, мало ли, — говорит, — что; ты ждал, а зачем ты, — говорит, — татарок при себе вместо жен держал?.. Ты знаешь ли, — говорит, — что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взяться как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь; но только ты, — говорит, — этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется.

«Ну, что же, — думаю, — делать, останусь хоть так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена». Но граф этого не захотели. Изволили сказать:

— Я, — говорят, — не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть.

И приказали управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерениев у меня никаких определительных не было, но на мою долю Бог послал практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

— Магнетизм-с.

— Как?! Магнетизм?!

— Да-с, магнетическое влияние от одной особы.

— Как же вы чувствовали над собой ее вли-

яние?

— Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял.

— Вот тут, значит, к вам и пришла *ваша* собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь?

— Нет-с, это еще после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.

— Вы можете рассказать и эти приключения?

— Отчего же-с, с большим моим удовольствием.

— Так пожалуйста.

Глава десятая

— Взявши я паспорт, пошел без всякого о себе намерения, и пришел на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает: стал ее силу пробовать и своего конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется, хоть и равная, а мужикова лошадь преет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен, а у Цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на обморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас и шлеп на землю и

закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина и угощения и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло: и капитал расти и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею и начал ходить с ярмарки на ярмарку и везде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и всё могарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно что Божия гроза и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это были пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому кому угодно преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

— Отчего же это не послужит в пользу?

— Не поймет-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все

втуне осталось; но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне сто рублей давал.

— Открой, — говорит, — братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит.

А я отвечаю:

— Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование.

Ну а он пристает:

— Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь, — вот тебе сто рублей.

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и нисколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю.

Он, однако, был и этим доволен и говорит: ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай.

— Первое самое дело, — говорю, — если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом

всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают.

Тронет за зашеину, за челку, за храпок, за обрез и за грудной соколок или еще за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник, как этакую военную латоху увидал, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фалыней этих бездна: конь вислоух — ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут и зашьют и замажут, и он оттого ушки подберет, но ненадолго: кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики, их обрезывают, а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звездочкой, барышники уже так и зрят, чтобы такую звездочку другой приспособить, — пемзою шерсть вытирают или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет, но только всячески если хорошо смотреть, то таким манером ращенная шерстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще больше барышники обижают публику

глазами: у иной лошади западинки ввалившись над глазом, и некрасиво, но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надует так, что кожа подымется и глаз освежеет и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно, от теплого дыхания, и она стоит не шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик, и он будто гладит, а сам кольнет.

И я своему ремонтеру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило: назавтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячи хуже, и еще зовет меня посмотреть и говорит:

— Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать.

Я заглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего:

— У этой плечи мясистые — будет землю ногами цеплять; эта ложится — копыто под брюхо кладет и много что через годок себе килу намнет; а эта, когда овес ест, передней ногою топает и колено об ясли бьет, — и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говорит:

— Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить.

Я согласился и жил отлично целых три года, не как раб или наемник, а больше как друг и помощник, и если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтирскому заведению, какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтером знакомится, а верного человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтере, а в том, если который имеет при себе настоящего конэсера. Я же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой

князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром, как встанет, идет в архалучке ко мне в конюшню и говорит:

— Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела? — он все этак шутил, звал меня *почти полупочтенный,* но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и отвечу, бывало:

— Ничего, мол, мои дела, слава богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?

— Мои, — говорит, — так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо.

— Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-онамеднишнему?

— Вы, — отвечает, — изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся.

— А на сколько, — спрашиваю, — вашу милость облегчило?

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл, а я покачаю головою да говорю:

— Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому.

Он рассмеется и говорит:

— То и есть, что некому.

— А вот ложитесь, мол, на мою кроватку, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постегаю.

Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал.

— Нет, ты, — говорит, — лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на реванжик: я пойду отыграюсь и всех обыграю.

— Ну уж это, — отвечаю, — покорно вас благодарю, нет, уже играйте, да не отыгрывайтесь.

— Как — благодаришь! — начнет смехом, а там уже пойдет сердиться: — Ну, пожалуйста, — говорит, — не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги!

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж?

— Никогда, — отвечал он. — Я его, бывало, либо обману — скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу.

— Ведь он на вас небось за это сердился?

— Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет:

— Кончено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите.

Я отвечаю:

— Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспорт.

— Хорошо-с, — говорит, — извольте собираться: завтра получите ваш паспорт.

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит:

— Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали.

И так это он всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже, как брат, ко мне снисходил.

— А с вами что же случалось?

— Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

— А что это значит — *выходы*?

— Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда, бывало, отпущаем коней, кажется, и не братья они тебе,

а соскучаешь по них и запьешь. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход.

— Это значит — запьете?!

— Да-с, выйду и запью.

— И надолго?

— М… н… это не равно-с, какой выход задастся: иногда пьешь, пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покороче удастся — в части посидишь или в канаве выспишься, и доволен, и отойдет. В таковых случаях я уже наблюдал правило и как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

— Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду.

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало:

— Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую, — на большой ли выход или на коротенький.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает и ждет

меня, пока кончится выход. И все шло хорошо, но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.

Глава одиннадцатая

Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно, от этого не отказался и поведал о своем «последнем выходе» следующее:

— У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит, гривка легкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет… Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась… В эту пору у нас разом

шли две ярмарки: одна в Л., другая в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать, говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее, голубушку, променял или продал или, еще того вернее, проиграл в карты... И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное. Я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападает на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь, и усер-

дия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попу щаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, все больше и больше стремлюсь сделать выход. И наконец стал я исполняться одной мыслью: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить, и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целию прятать, и всё по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить… Думаю: «Что делать? Видно, с собою не совладаешь, устрою, — думаю, — понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю… Измучился просто я, их прятавши, и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду — сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно, мне не судьба в

этот раз свое усердие исполнить». И вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул за себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в углу дьявола в геенне ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял да, послюнивши, кулак в морду и сунул:

— На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь, — а сам после этого совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить…

А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру… Тут его, в этом трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит:

— Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек, а что я всего лишился, так на это была особая Божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет.

Те ему не верят и смеются, а он сказывает, как он жил и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне, — говорит, — я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки! — я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил и как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел, и все этому с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробою жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла

есть не понуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это восчувствовал и руку мне подает.

— Верно, — говорит, — ты происхождения из господских людей?

— Да, — говорю, — из господских.

— Сейчас, — говорит, — и видно, что ты не то что эти свиньи. Гран-мерси, — говорит, — тебе за это.

Я говорю:

— Ничего, иди с Богом.

— Нет, — отвечает, — я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду.

— Ну, мол, пожалуй, садись.

Он возле меня и сел и начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит:

— Что это… ты чай пьешь?

— Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей.

— Спасибо, — отвечает, — только я чаю пить не могу.

— Отчего?

— А оттого, — говорит, — что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!..

И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил, и стал уже очень мне этим докучать. А еще

больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все-то куражится и невесть что о себе соплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете.

— Подумай, — говорит, — ты, какой я человек? Я, — говорит, — самим Богом в один год с императором создан и ему ровесник.

— Ну так что же, мол, такое?

— А то, что какое же мое, несмотря на все это, положение? Несмотря на все это, я, — говорит, — нисколько не взыскан и вышел ничтожество, и, как ты сейчас видел, я ото всех презираем.

И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмехаются, и в конце говорит:

— Они, — говорит, — необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братец, призвание и для многих даже совсем невозможное; но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу.

— Зачем же, — рассуждаю, — этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось.

— Бросить? — отвечает. — Ага, нет, братец, мне этого бросить невозможно.

— Почему же, — говорю, — нельзя?

— А нельзя, — отвечает, — по двум причинам: во-первых, потому что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют.

— Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этапу вредную пакость бросить, этому я верить не хочу.

— Да, вот ты, — отвечает, — не хочешь этому верить… Так и все говорят… А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет да возьмет: рад ли он этому будет или нет?

— Спаси, мол, Господи! Нет, я думаю, не обрадуется.

— Ага! — говорит. — Вот то-то и есть, а если же это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня по крайней мере за это, и вели мне еще графин водки подать!

Я постучал еще графинчик и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно, а он

продолжает таковые слова:

— Оно, — говорит, — это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я, — говорит, — хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я еще самым маленьким по-французски Богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал; матерей с детьми разлучал; жену за себя богатую взял и со света ее сжил и, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на Бога возроптал: зачем у меня такой характер? Он меня и наказал: дал мне другой характер, что нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть.

— И что же, — спрашиваю, — теперь ты уже на этот характер не ропщешь?

— Не ропщу, — отвечает, — потому что оно хотя хуже, но зато лучше.

— Как это, мол, так; я что-то не понимаю, как это — хуже, но лучше?

— А так, — отвечает, — что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я, — говорит, — теперь все равно что Иов на гноище*, и в этом, — говорит, — все мое счастье и спасе-

ние, — и сам опять водку допил, и еще графин спрашивает, и молвит:

— А ты знаешь ли, любезный друг, ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты, если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял.

— Ну где же, — говорю, — возможно такого человека найти?! Никто на это не согласится.

— Отчего так? — отвечает. — Да тебе даже нечего далеко ходить: такой человек перед тобою, я сам и есть такой человек.

Я говорю:

— Ты шутишь?

Но он вдруг вскакивает и говорит:

— Нет, не шучу, а если не веришь, так испытай.

— Ну как, — говорю, — я могу это испытывать?

— А очень просто. Ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование! Я вот, видишь, я сейчас пьян… Так или нет: пьян я?

Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый и весь осоловевши и на ногах покачивается, и говорю:

— Да разумеется, что ты пьян.

А он отвечает:

— Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».

Я отвернулся и, действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует:

— А ну-ка, погляди теперь на меня: пьян я теперь или нет?

Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается.

Я говорю:

— Что же это значит? Какой это секрет?

А он отвечает:

— Это, — говорит, — не секрет, а это называется магнетизм.

— Не понимаю, мол, что это такое?

— Такая воля, — говорит, — особенная в человеке помещается, и ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я, — говорит, — это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не

хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про Бога не позабыл. Но с другого человека со всякого я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести.

— Так сведи, — говорю, — сделай милость, с меня!

— А ты, — говорит, — разве пьешь?

— Пью, — говорю, — и временем даже очень усердно пью.

— Ну так не робей же, — говорит, — это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю, все с тебя сниму.

— Ах, сделай милость, прошу, сними!

— Изволь, — говорит, — любезный, изволь; я тебе это за твое угощение сделаю: сниму и на себя возьму, — и с этим крикнул опять вина и две рюмки.

Я говорю:

— На что тебе две рюмки?

— Одна, — говорит, — для меня, другая — для тебя!

— Я, мол, пить не стану.

А он вдруг как бы осерчал и говорит:

— Тссс! Силянс! Молчать! Ты теперь кто? — больной.

— Ну, мол, ладно, будь по-твоему: я больной.

— А я, — говорит, — лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство. — И с этим налил и мне и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать. Помахал, помахал и приказывает:

— Пей!

Я было усумнился, но, как по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось, и он приказывает. «Дай, — думаю, — ни для чего иного, а для любопытства выпью!» — и выпил.

— Хороша? — спрашивает. — Вкусна ли или горька?

— Не знаю, мол, как тебе сказать.

— А это значит, — говорит, — что ты мало принял, — и налил вторую рюмку, и давай опять над нею руками мотать. Помотает-помотает и отряхнет, и опять заставил меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошает: — Эта какова?

Я пошутил, говорю:

— Эта что-то тяжела показалась.

Он кивнул головой и сейчас намахал третью и опять командует:

— Пей!

Я выпил и говорю:

— Эта легче, — и затем уже сам в графин стучу

и его потчую, и себе наливаю, да и пошел пить.

Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит:

— Шу, силянс… атанде, — и прежде над нею руками помашет, а потом и говорит: — Теперь готово, *можешь принимать, как сказано.*

И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера, и все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат, и продолжаю.

Барин мне тут, пивши со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследи всего стал ссориться, что я любви не понимаю.

Я говорю:

— Что же с тем делать, когда я к этим пустякам непривычен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь и зато вон какой лонтрыгой* ходишь.

А он говорит:

— Шу, силянс! Любовь — наша святыня!

— Пустяки, мол.

— Мужик, — говорит, — ты и подлец, если ты

смеешь над священным сердца чувством смеяться и его пустяками называть!

— Да, пустяки, мол, оно и есть.

— Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое «краса природы совершенство»*?

— Да, — говорю, — я в лошади красоту понимаю.

А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить.

— Разве лошадь, — говорит, — краса природы совершенство?

Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили человек шесть и сами просят: «Пожалуйте вон», а сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какою силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминеях* нет.

Глава двенадцатая

Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник? Оказалось, что он при мне. «Теперь, — думаю, — вся забота, как бы их благополучно домой донести». А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас, около Курска, бывают такие темные ночи, но претеплейшие и премягкие: по небу звезды, как лампады, навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает… А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает и достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, а во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут, то и с большою силою ничего с ними не сделаешь, и оберут, а я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову: нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Где он взаправду? Вместе нас вон

выставили, а куда же он так спешно делся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову так:

— Слышишь, ты? — говорю. — Магнетизер, где ты?

А он вдруг, словно бес какой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит:

— Я вот он.

А мне показалось, что будто это не тот голос, да и впотьмах даже и рожа не его представляется.

— Подойди-ка, — говорю, — еще поближе.

И как он подошел, я его взял за плечи и начинаю рассматривать и никак не могу узнать, кто он такой? Как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я в том ничего не понимаю.

— Что ты такое, — говорю, — лопочешь?

А он опять по-французски:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе.

— Да перестань, — говорю, — дура, отвечай мне по-русски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл.

Отвечает:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе, я магнетизер.

— Тьфу, мол, ты, пострел этакой! — и на ми-

нутку будто вспомню, что это он, но стану в него всматриваться и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь об этом — позабуду, кто он такой…

«Ах ты, будь ты проклят, — думаю, — и откуда ты, шельма, на меня навязался?» — и опять его спрашиваю:

— Кто ты такой?

Он опять говорит:

— Магнетизер.

— Провались же, — говорю, — ты от меня! Может быть, ты черт?

— Не совсем, — говорит, — так, а около того.

Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит:

— За что же ты меня ударил? Я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

— Да кто же ты, мол, такой?

Он говорит:

— Я твой довечный друг.

— Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?

— Нет, — говорит, — я тебе такое пти-ком-пё представлю, что ты себя иным человеком ощу-

тишь.

— Ну перестань, — говорю, — пожалуйста, врать.

— Истинно, — говорит, — истинно: такое птиком-пё…

— Да не болтай ты, — говорю, — черт, со мною по-французски. Я не понимаю, что то за птиком-пё!

— Я, — отвечает, — тебе в жизни новое понятие дам.

— Ну, вот это, мол, так. Но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?

— А такое, — говорит, — что ты постигнешь красу природы совершенство.

— Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?

— А вот пойдем, — говорит, — сейчас увидишь.

— Хорошо, мол, пойдем.

И пошли. Идем оба, шатаемся, но всё идем, а я не знаю куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною, и опять говорю:

— Стой! Говори мне, кто ты? Иначе я не пойду.

Он скажет, и я на минутку как будто вспомню и спрашиваю:

— Отчего же это я позабываю, кто ты такой?

А он отвечает:

— Это, — говорит, — и есть действие от моего

магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдет, только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пущу.

И вдруг повернул меня к себе спиною и ну у меня в затылке, в волосах, пальцами перебирать… Так чудно: копается там, точно хочет мне взлезть в голову.

Я говорю:

— Послушай, ты… кто ты такой! Что ты там роешься?

— Погоди, — отвечает, — стой: я в тебя свою силу-магнетизм перепущаю.

— Хорошо, — говорю, — что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть хочешь?

Он отпирается.

— Ну, так постой, мол, я деньги попробую.

Попробовал — деньги целы.

— Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор, — а кто он такой — опять позабыл, но только уже не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла.

«Вот, — думаю, — штуку он со мной сделал!»

— А где же теперь, — спрашиваю, — мое зре-

ние?

— А твоего, — говорит, — теперь уже нет.

— Что, мол, это за вздор, что нет?

— Так, — отвечает, — своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету.

— Вот, мол, еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь. — Вылупился, знаете, во всю мочь и вижу, будто на меня из-за углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: «Убьем его и возьмем сокровище». А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиною к какому-то дому, а в нем окна открыты и в середине светло, и оттуда те разные голоса и шум и гитара поет, а передо мною опять мой баринок и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает и за персты рук схватит, встряхнет полегонечку и опять машет, и так трудится, что даже, вижу, он сделался весь в поту.

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание свое

прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

— Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть, — черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпься.

А он мне на это отвечает:

— Погоди, — говорит, — еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести.

Я говорю:

— Чего, мол, такого я не могу перенести?

— А того, — говорит, — что в воздушных сферах теперь происходит.

— Что же я, мол, ничего особенного не слышу?

А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком:

— Ты, — говорит, — чтобы слышать, подражай примерно гуслеигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвизает бряцало рукою.

«Нет, — думаю, — да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже, как он стал разговаривать!»

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать.

— Так, — говорит, — купно струнам, художне соударяемым единым со другими, гусли песнь

издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовыя.

То есть просто, вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю: «Вот тебе и пьяничка! Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить!» А мой баринок этим временем перестал егозиться и такую речь молвит:

— Ну, теперь довольно с тебя; теперь проснись, — говорит, — и подкрепись!

И с этим принагнулся и все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал и наконец что-то оттуда достает. Гляжу, это вот такохонький махонький-махонький кусочек сахарцу, и весь в сору, видно оттого, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит:

— Раскрой рот.

Я говорю:

— Зачем? — а сам рот раззявил.

А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит:

— Соси, — говорит, — смелее; это магнитный сахарментор: он тебя подкрепит.

Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчет магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь, сахар сосу, а кто мне

его дал, того уже не вижу. Отошел ли он куда впотьмах в эту минуту или так куда провалился, лихо его ведает, но только я остался один и совсем сделался в своем понятии и думаю: чего же мне его ждать? Мне теперь надо домой идти. Но опять дело: не знаю — на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою? И думаю: да уже дом ли это? Может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение… Теперь ночь, все спят, а зачем тут свет?.. Ну а лучше, мол, попробовать… зайду, посмотрю, что здесь такое; если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти, а если это только обольщение глаз, а не живые люди… так что же опасного? Я скажу: «Наше место свято: чур меня» — и все рассыпется.

Глава тринадцатая

Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался — ничего, дом стоит, не шатается, и вижу: двери отворены и впереди большие, длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю: что же это такое за дом? Трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня… томная-претомная, сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган, в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь, под дальним фонарем, которую я спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и гово-

рит ему вслед:

— Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи: если нам *от него* польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим.

И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне, будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:

— Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен послушать! Голоса есть хорошие.

И с этим дверь передо мною тихо навстежь распахнул… Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу, в этом дымище, люди… очень много, страсть как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер… Замер ее голосок, и с ним в одно мгновение точно все умерло… Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ла-

дошами плещут и кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает? «Ух, — думаю, — а не дичь ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая… даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, — только одних белых лебедей нет*. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации; а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад повернула, не хотела мне подносить,

но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет:

— Грушка! — и глазами на меня кажет.

Она взмахнула на него ресничищами… Ей-богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но, однако, свою должность исполняет — заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит:

— Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!

А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидел, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощенье, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет… «Вот она, — думаю, — где настоящая-то красота, что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал: это совсем не то что в

лошади, в продажном звере».

И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане всё попадаются четвертаки да двугривенные да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят:

— Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь Груше этого мужика угощать? Нам это обидно.

А он отвечает:

— У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают.

А я, это слышучи, думаю: «Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет: после князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу».

Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебедя да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку

переняла, а другою мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка, даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела и прочь отошла.

Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку и волокут вперед и сажают в самый передний ряд рядом с исправником и с другими господами.

Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но они просят и не пущают и зовут:

— Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!

И та выходит и… враг ее знает, что она умела глазами делать, — взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит:

— Не обидь, погости у нас на этом месте.

— Ну уж тебя ли, — говорю, — кому обидеть можно, — и сел.

А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто ядовитою кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет.

И после этого начались опять песни и пляски, и

опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той красоты нет! И за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул… Господа это взяли в пересмех, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но солу не делает, и мне ее голоса не слыхать, а только роток с белыми зубками видно… «Эх ты, — думаю, — доля моя сиротская: на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу!» Но на мое счастье, не одному мне хотелось ее послушать, и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:

— Груша! Груша! «Челнок»*, Груша! «Челнок»!

Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете… их пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает, а я как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто грубовато, мужественно эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре стонет..» Точно в действительности слышно, как и море стонет, и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе

совсем другая перемена, обращение к звезде: «Молодая, золотая, предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде и точно сразу опять сердце вставит… Так и тут она это «море»-то с «челном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором:

Джа-ла-ла. Джа-ла-ла.
Джа-ла-ла прингала!
Джа-ла-ла принга-ла.
Гай да чепурингаля!
Гей гоп-гай, та тара!
Гей гоп-гай-та тара!

И потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя… На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебедя и уже не считаю, сколько их выпустил, а даю, да и кончено; и зато

другие ее все разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит: «устала», а я один кивну цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? — тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И много-с она пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много без счету лебедей, а в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась и устала и, точно с намеками на меня глядя, запела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз ты моих...» Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю мощь красоты испытать над собой?» А я ей еще лебедя! Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила, и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот лукавый час на последях как заорут:

Ты восчувствуй, милая,
Как люблю тебя, драгая! —

и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: «Ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи изба, ходи печь, хозяину негде лечь!» — и вдруг все в пляс пошли... Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе вьются, точно и в

самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрех-том. На местах, гляжу, уже никого и не остается… Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и, смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтер, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идет — козырится, взагреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» — и она… Ох, тоже плясунья была! Я видел, как пляшут актерки в театрах, да что все это, тьфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного блезиру манежится, невесть чего ерихонится, а огня-жизни

нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит, и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит… Картина! Просто от этого виденья на ее танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти; у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат: «Ничего не жалеем: танцуй!» — деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут гуще и гуще завеял ось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на Гусарову шапку наступает… Она ступит, а меня черт в жилу щелк; она опять ступит, а он меня опять щелк, да наконец думаю: «Что же мне так себя всуе мучить! Пущу и я свою душу погулять вволю», — да как вскочу, отпихнул гусара да и пошел перед Грушею вприсядку… А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилася, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете, меня тем не удивите, а вот что я ничего не жалею, так я то делом-правдою докажу, да сам прыгнул и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она было не того… даром что мой лебедь гусарской шапки

дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром; да только старый цыган, спасибо, это заметил да как на нее топнет… Она и поняла и пошла за мной… Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеища-горынище, ажно гневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу да все что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя… Сам ее так уважаю, что думаю: «Не ты ли, проклятая, и землю, и небо сделала?» А сам на нее с дерзостью кричу: «Ходи шибче!» — да все под ноги ей лебедей, да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десяток остался… «Тьфу ты, — думаю, — черт же вас всех побирай!» — скомкал их всех в кучку да сразу их все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул: «Сторонись, душа, а то оболью!» — да всю сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.

Глава четырнадцатая

— Ну и что же далее? — вопросили Ивана Северьяныча.

— Далее, действительно, все так воспоследовало, как *он* обещался.

— Кто обещался?

— А магнетизер, который это на меня навел. Он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел, и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал.

— Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?

— А я сам не знаю, как-то очень просто. Как от этих цыганов доставился домой и не помню, как лег, но только слышу: князь стучит и зовет, а я хочу с коника* встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь — и здесь тоже краю нет… Заблудил на конике, да и полно!.. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» — а сам лазаю во все стороны и все не найду края и наконец думаю: «Ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну» — и размахнулся да как сигану как можно дальше и чувствую, что меня

будто что по морде ударило и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже звенит и опять сыпется, и голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг; а на место того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все…

— Как же вы это так заблудились?

— Очень просто: думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег, да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать… и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот… магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил… Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «Как бы хуже не было, если питье бросить», — и пошел его искать, — хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес и тут же, напротив цыганов, у шинкарки так напился, что и помер.

— А вы так и остались замагнетизированы?

— Так и остался-с.

— И долго же на вас этот магнетизм действовал?

— Отчего же долго ли? Он, может быть, и посейчас действует.

— А все-таки интересно знать, как же вы с князем — то?.. Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?

— Нет-с, объяснение было, только не важное. Князь тоже приехал проигравшись и на реванж у меня стал просить.

Я говорю:

— Ну уже это оставьте: у меня ничего денег нет.

Он думает, шутка, а я говорю:

— Нет, исправди, у меня без вас большой выход был.

Он спрашивает:

— Куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть?

Я говорю:

— Я их сразу цыганке бросил…

Он не верит.

Я говорю:

— Ну, не верьте, а я вам правду говорю.

Он было озлился и говорит:

— Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные

деньги швырять, — а потом, это вдруг отменив, и говорит: — Не надо ничего, — я и сам такой же, как ты, беспутный.

И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая горячка была и хотел будто бы я вешаться, только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю:

— Ваше сиятельство, надо мне вам деньги-то отслужить.

Он отвечает:

— Пошел к черту.

Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь.

— Что, — говорит, — это значит?

— Да оттрепите же, — прошу, — меня по крайней мере как следует!

А он отвечает:

— А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю.

— Помилуйте, — говорю, — как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял?

Я сам знаю, что меня, подлеца, за это повесить мало.

А он отвечает:

— А что, братец, делать, когда ты артист.

— Как, — говорю, — это так?

— Так, — отвечает, — так, любезнейший Иван Северьяныч, вы, мой полупочтеннейший, артист.

— И понять, — говорю, — не могу.

— Ты, — говорит, — не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист.

«Ну, вот это, — думаю, — понятно: видно, не я один до белой горячки подвизался».

А он встал, ударил об пол трубку и говорит:

— Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел, я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было.

Я во все глаза на него вылупился.

— Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно.

— Ну, ты, — отвечает, — очень не пугайся: Бог милостив и авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу в табор пол сотни тысяч отдал.

Я так и ахнул.

— Как, — говорю, — полсотни тысяч? За цыган-

ку? Да стоит ли она этого, аспидка?

— Ну, вот это, — отвечает, — вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили… Как — стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить.

А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю:

— Этакая, мол, сумма! Целые пятьдесят тысяч!

— Да, да, — говорит, — и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал… все что хочешь дал бы.

— А вам бы, — говорю, — плюнуть, и больше ничего.

— Не мог, — говорит, — братец, не мог плюнуть.

— Отчего же?

— Она меня красотою и талантом уязвила, и мне исцеленья надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи: ведь правда, она хороша? А? Правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?..

Я губы закусил и только уже молча головой трясу: правда, мол, правда!

— Мне, — говорит князь, — знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты

можешь ли это понимать, что умереть нипочем?

— Что же, — говорю, — тут непонятного, краса природы совершенство…

— Как же ты это понимаешь?

— А так, — отвечаю, — и понимаю, что краса природы совершенство и за это восхищенному человеку погибнуть… даже радость!

— Молодец, — отвечает мой князь, — молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премного-малозначащий Иван Северьянович! Именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть.

Тут я еще ниже спустил голос и шепчу:

— Как, — говорю, — будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?

А он отвечает:

— А то как же иначе? Разумеется, здесь.

— Может ли, — говорю, — это быть?

— А вот ты, — говорит, — постой, я ее сейчас приведу. Ты артист, — от тебя я ее не скрою.

И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю: «Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь

смотреть! Наскучит!» Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, думаю: «Неужели я ее сейчас увижу?» А они вдруг и входят: князь впереди идет и в одной руке гитару с широкой алой лентой несет, а другой Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит, а она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти ресничищи черные по щекам, как будто птичьи крылья, шевелятся.

Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван; одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую — под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому сафьянному башмачку и мне кивает: дескать, садись и ты.

Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тощо делается. Я сидел-сидел, индо колени разломило, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю: вижу, что он от темноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей петь! А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает.

И опять оба сидим на полу да ждем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут… И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела: «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчет: «Что?» А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю: «Пти-ком-пё», говорю, — и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет: «А меня с красотой продадут, продадут!» — да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет, и я, глядя на нее, плачу, и князь… тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а как будто, службу служа, застонал: «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной», — да и ну рыдать. И поет, и рыдает: «Успокой меня, беспокойного, осчастливь меня, несчастливого!» Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам и пению и все стала тишать, усмиряться и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвила ею его голову… Ну, тут

мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной, и я встал потихоньку, незаметно и вышел.

— И, верно, тут-то вы и в монастырь пошли? — вопросил некто рассказчика.

— Нет-с, еще не тут, а позже, — отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.

Глава пятнадцатая

— Видите, — начал Иван Северьяныч, — мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи — иначе он с ума сойдет, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло, и ее, Грушин, отец, и все те ихние таборные цыгане отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену, больше как все его домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошее именьице, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда налицо не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог.

Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши, и так на мое и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал и вдруг зевать стал и все меня в компанию призывать начал.

— Садись, — говорит, — послушай.

Я беру стул, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось: он, бывало,

ее попросит петь, а она скажет:

— Перед кем я стану петь! Ты, — говорит, — холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась.

Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем; а потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и я после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит:

— А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи.

Я говорю:

— Чем же они плохи? Слава богу, живете как надо, и все у вас есть.

А он вдруг обиделся.

— Как, — говорит, — вы, мой полупочтеннейший, глупы. «Все есть»? Что же это такое у меня *есть?*

— Да все, мол, что нужно.

— Неправда, — говорит, — я обеднел, я теперь

себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?

«Вот, — думаю, — что тебя огорчает», — и говорю:

— Ну, если когда вина недостача, еще не велика беда, потерпеть можно, зато есть, что слаще и вина, и меду.

Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит:

— Конечно… конечно… разумеется… но только… Вот я теперь полгода живу здесь и человека у себя чужого не видал…

— А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?

Князь вспыхнул.

— Ты, — говорит, — братец, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другом.

«Ага! — думаю. — Вот ты что, брат, запел!» — и говорю:

— Что же, мол, теперь делать?

— Давай, — говорит, — станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили.

Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя ни тешилось, абы

не плакало, и говорю: «Извольте».

И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть: где какие деньжонки добудет, сейчас покупает коней, и все берет, хватает зря, меня не слушает… Накупили обельму*, а продажи нет… Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере… Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении… в тягости. Скучает. «Мало, — говорит, — его вижу», — а перемогает себя и великатится: чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет:

— Ты бы, — говорит, — изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся, что тебе со мною сидеть: я проста, неученая.

Этих слов он, бывало, сейчас застыдится и руки у нее целует и дня два-три крепится, а зато потом как выкатит, так уже и завьется, а ее мне заказывает.

— Береги, — говорит, — ее, полупочтенный Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени

артист, и оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело, а меня от этих «изумрудов яхонтовых» в сон клонит.

Я говорю:

— Почему же это так? Ведь это слово любовное.

— Любовное, — отвечает, — да глупое и надоедное.

Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож: когда князя нет, я всякий день два раза в день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

— Милый мой, сердечный мой друг, Иван Северьянович, — возговорит, — ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит.

Ну, я ее, разумеется, уговариваю:

— Чего, — говорю, — очень мучиться, где он ни побывает, все к тебе воротится.

А она всплачет и руками себя в грудь бьет, и говорит:

— Нет, скажи же ты мне… не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?

— У господ, — говорю, — у соседей или в городе.

— А нет ли, — говорит, — там где-нибудь моей с

ним разлучницы? Скажи мне: может, он допрежь меня кого любил и к ней назад воротился или не задумал ли он, лиходей мой, жениться? — А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно.

Я ее утешаю, а сам думаю: «Кто его знает, что он делает», — потому что мы мало его в то время и видели.

Вот как вспало ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить:

— Съезди, такой-сякой, голубчик, Иван Северьянович, в город; съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи.

Пристает она с этим ко мне все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю: «Ну, была не была, поеду. Хотя ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дело в ясность».

Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал, но поехал неспроста, а с хитрым подходом.

Груше было неизвестно и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя, до этого случая с Грушею, была в городе другая любовь — из благородных, секретарская дочка

Евгенья Семеновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая и имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой к Евгенье Семеновне, после того как ее наградил, никогда не заезжал, а люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили и всякий приезд все, бывало, к ней захаживали, потому что ее любили и она до всех до наших была ужасно какая ласковая и князем интересовалась.

Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю:

— Я, матушка Евгенья Семеновна, у вас остановился.

Она отвечает:

— Ну, что же, очень рада. Только отчего же, — говорит, — ты к князю не едешь, на его квартиру?

— А разве, — говорю, — он здесь, в городе?

— Здесь, — отвечает. — Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит.

— Какое, мол, еще дело?

— Фабрику, — говорит, — суконную в аренду

берет.

— Господи, мол, еще что такое он задумал?!

— А что, — говорит, — разве это худо?

— Ничего, — говорю, — только что-то мне это удивительно.

Она улыбается.

— Нет, а ты, — говорит, — вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть.

— И что же, — говорю, — вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрешили?

Она пожала плечами и отвечает:

— Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит, — и с этим вздохнула и задумалась, сидит опустя голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная, а к тому еще и обращение совсем не то, что у Груши… та ведь больше ничего, как начнет свое «изумрудный да яхонтовый», а эта совсем другое…

Я ее и взревновал. «Ох, — думаю себе, — как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несытым сердцем не глянул! От сего тогда моей Грушеньке много добра не воспоследует». И в таком размышлении сижу я у Евгеньи Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу

звонок, и горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке:

— Князинька к нам приехал!

Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была старушка, из московских, страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит:

— Не уходи, Иван Голованыч, а пойдем вот сюда, в гардеробную, за шкапы сядем, она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем.

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать, и как от Евгеньи Семеновны мне был лодиколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: «Подпущу-ка я ей, божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка, авось она, по благодати своей, мне тогда что-нибудь и соврет, чего бы без того и не высказала».

Удалились мы из детской и сидим за шкапами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридор, с дверью в конце, а та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгенья Се-

меновна князя приняла, и даже к тому к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешенная, а то все равно будто я с ними в одной комнате сижу — так мне все слышно.

Князь как вошел и говорит:

— Здравствуй, старый друг, испытанный!

А она ему отвечает:

— Здравствуйте, князь! Чему я обязана?

А он ей:

— Об этом, — говорит, — после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать. — И мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь.

Евгенья Семеновна отвечает, что она, мол, дома.

— Здорова?

— Здорова, — говорит.

— И выросла небось?

Евгенья Семеновна рассмеялась и отвечает:

— Разумеется, — говорит, — выросла.

Князь спрашивает:

— Надеюсь, что ты мне ее покажешь?

— Отчего же, — отвечает, — с удовольствием, — и встала с места, вошла в детскую и зовет

эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которою я угощаюсь.

— Выведите, — говорит, — нянюшка, Людочку к князю.

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на стол и говорит:

— О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь, в самый аппетит, с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в свое удовольствие сделать не дадут! — и поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: — Посиди, — а сама пошла с девочкой, а я один за шкапами остался и вдруг слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленах и говорит:

— Хочешь, мой анфан*, в карете покататься?

Та ничего не отвечает; он говорит Евгенье Семеновне:

— Же ву при, — говорит, — пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поездит, покатается.

Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, непременно надобно, и этак они раза три словами перебросились, и потом Евгения Семеновна нехотя говорит нянюшке:

— Оденьте ее и поезжайте.

Те и поехали, а эти двоичкой себе остались, а я у них под сокрытием на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя, да и сам себе я думал: «Вот же когда мой час настал, и я теперь настояще исследую, что у кого против Груши есть в мыслях вредного?»

Глава шестнадцатая

Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком, что можно, увидеть и всего этого достиг: стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и, верно, смотрит, как ее дитя в карету сажают.

Карета отъехала, и она оборачивается и говорит:

— Ну, князь, я все сделала, как вы хотели; скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?

А он отвечает:

— Ну, что там дело!.. Дело не медведь, в лес не убежит, а ты прежде подойди-ка сюда ко мне: сядем рядом да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому.

Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит:

— Что же, — говорит, — ты? Я прошу, мне говорить с тобой надо.

Та послушалась, подходит, он сейчас, это видя, опять шутит:

— Ну, мол, посиди, посиди по-старому, — и обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит:

— Дело, князь, говорите, дело: чем я могу вам служить?

— Что же это, — спрашивает князь, — стало быть, без разговора все начистоту выкладывать?

— Конечно, — говорит, — объясняйте прямо: в чем дело? Мы ведь с вами коротко знакомы — церемониться нечего.

— Мне деньги нужны, — говорит князь.

Та молчит и смотрит.

— И не много денег, — молвил князь.

— А сколько?

— Теперь всего тысяч двадцать.

Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать, что я, говорит, суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер, я, говорит, все переделаю, все старое уничтожу и выброшу и начну яркие сукна делать да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу, а теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику нужно.

Евгенья Семеновна говорит:

— Где же их достать?

А князь отвечает:

— Я и сам не знаю, но надо достать, а потом расчет у меня самый верный: у меня есть человек — Иван Голован, из полковых конэсеров, очень не умен, а золотой мужик — честный, и рачитель, и долго у азиатов в плену был, и все их вкусы отлично знает, а теперь у Макария стоит ярмарка*, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут… Тогда… я, первое, сейчас эти двадцать тысяч отдам…

И он замолк, а барыня помолчала, воздохнула и начинает:

— Расчет, — говорит, — ваш, князь, верен.

— Не правда ли?

— Верен, — говорит, — верен; вы так сделаете: вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом; в обществе заговорят, что ваши дела поправились…

— Да.

— Да, и тогда…

— Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею.

— Нет, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимете всем этим на фуфу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ее

приданое, в самом деле разбогатеете.

— Ты так думаешь? — говорит князь.

А барыня отвечает:

— А вы разве иначе думаете?

— А ну, если ты, — говорит, — все понимаешь, так дай Бог твоими устами да нам мед пить.

– Нам?

— Конечно, — говорит, — тогда всем нам будет хорошо: ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам.

Барыня отвечает:

— Дом ваш: вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен.

Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой, а ты ее мать, я у тебя прошу… разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь…»

А она отвечает:

— Ах, полноте, — говорит, — князь, то ли я вам, — говорит, — верила! Я вам жизнь и честь свою доверяла.

— Ах да, — говорит, — ты про это… Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно… Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?

— Присылайте, — говорит, — я подпишу.

— А тебе не страшно?

— Нет, — говорит, — я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться.

— И не жаль? Говори: не жаль? Верно, еще ты любишь меня немножечко? Что? Или просто сожалеешь? А?

Она на эти слова только засмеялась и говорит:

— Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вам моченой морошки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная.

Он, должно быть, обиделся: не того, видно, совсем ожидал — встает и улыбается.

— Нет, — говорит, — кушай сама свою морошку, а мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай, — и начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась.

Евгенья Семеновна и подает ему на прощанье руку, а сама говорит:

— А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?

А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул:

— Ах и вправду! Какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда о твоем уме вспоминаю, и спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила!

— А вы, — говорит, — будто про нее так и позабыли?

— Ей-богу, — говорит, — позабыл. И из ума вон, а ее, дуру, ведь, действительно, надо устроить.

— Устраивайте, — отвечает Евгения Семеновна, — только хорошенечко: она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком, она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого.

— Ничего, — отвечает, — как-нибудь успокоится.

— Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит?

— Страсть надоела; но, слава богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья.

— Что же вам из этого? — спрашивает Евгения Семеновна.

— Ничего; дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить.

А Евгения Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

— Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька! Где ваша совесть?

А князь отвечает:

— Оставь, пожалуйста, мою совесть! Ей-богу, мне теперь не до нее: мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать.

Барыня ему и сказала, что Иван Голован, гово-

рит, в городе и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал.

Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарию, так что я Груши и повидать не мог, а только все за нее на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макария мне счастие так и повалило: набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов и все деньги князю выслал, и сам приехал назад и своего места узнать не могу… Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменилось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет: срыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул и кинулся: где же Груша? А про нее никто не ведает; и люди-то в прислуге все новые, наемные, и прегордые, так что и доступу мне прежнего к князю нет. Допрежь сего у нас с ним все было по-военному, в простоте, а теперь стало все на политике, и что мне надо князю сказать, то не иначе как через

камердинера.

Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался и сейчас бы ушел, но только мне очень было жаль Грушу, и никак я не могу узнать: где же это она делась? Кого из старых людей ни вспрошу — все молчат: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была и «всего, — говорит, — ден десять как с князем в коляске куда-то отъехала и с тех пор назад не вернулась». Я к кучерам, кои возили их, — стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с Грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно: погубил он ее, что ли, злодей, ножом или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу, во рву бросил да сухою листвою призасыпал или в воде утопил… От страстного человека ведь все это легко может статься; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было то не снесть и не покориться, как Евгенья Семеновна сделала, русская христианка, которая

жизнь свою перед ним как лампаду истеплила. В этой цыганское пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут небось неведомо что зачертила, вот он ее и покончил.

Так я все чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанью с предводительскою дочкою. А как свадьбы день пришел и всем людям раздали цветные платки и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне, в своем чуланчике, покинул и ушел с утра в лес и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера, все думал: не нападу ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится и праздник идет; гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мной и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают,

которую брат звал, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобным голосом.

— Сестрица моя, мол, — говорю, — Грунюшка! Откликнись ты мне, отзовись мне; откликнись мне, покажися мне на минуточку!

И что же вы изволите думать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и зачало все казаться, что ко мне кто-то бежит; и вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. И прямо на мне повисло, и колотится…

Глава семнадцатая

Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль, бьется и вздыхает, а ничего не молвит.

Я сотворил в уме молитву, и что же-с? — вижу пред своим лицом как раз лицо Груши…

— Родная моя, — говорю, — голубушка! Живая ли ты или с того света ко мне явилася? Ничего, — говорю, — не потаись, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мертвой не испугаюсь.

А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит:

— Я жива.

— Ну и слава, мол, богу.

— Только я, — говорит, — сюда умереть вырвалась.

— Что ты, — говорю, — бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать? Пойдем жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротиночке, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи заместо милой сестры.

А она отвечает:

— Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, мил-сердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоем слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить.

Пытаю ее:

— Про кого же ты это говоришь? Про чью душу жалеешь?

А она отвечает:

— Про ее, про лиходея моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю.

— Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?

— Не-е-ет, — отвечает, — я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад!

Вижу, вся женщина в расстройстве и в исступлении ума; я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменилась и где вся ее красота делась? Тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица, как в ночи у волка, горят, и еще будто против прежнего вдвое больше стали, да недро разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные

космы трепятся. Гляжу на платьице, какое на ней надето, а платьице темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.

— Скажи, — говорю, — мне, откуда же ты это сюда взялась? Где ты была и отчего такая неприглядная?

А она вдруг улыбнулася и говорит:

— Что?.. Чем я нехороша?.. Хороша! Это меня так убрал мил-сердечный друг за любовь к нему за верную; за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стеречь…

И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:

— Ах ты, глупая твоя голова, княженецкая! Разве цыганка — барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошуся и твоей молодой жене горло переем!

Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:

— А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ноги-то твои целовал!.. Бывало, на коленях

перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху, и снизу в подошву обцелует…

Она это стала слушать и вечищами своими черными водит по сухим щекам и, в воду глядя, начала гулким тихим голосом:

— Любил, — говорит, — любил, злодей, любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его — он покинул. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет?.. Глупый он, глупый! Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему: мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила.

Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю:

— Да что это такое у вас произошло и через что все это сталося?

А она всплескивает руками и говорит:

— Ах, ни черезо что ничего не было, а все через одно изменство!.. Нравиться ему я перестала, вот и вся причина, — и сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлепать. — Он, — говорит, — платьев мне, по своему вкусу, таких нашил, каких тягостной не требуется: узких да с талиями; я их надену, выстроюсь, а он сердится,

говорит: «Скинь, не идет тебе!» Не надену их, в роспашне покажусь, еще того вдвое обидится, говорит: «На кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивела…

И с этим совсем зарыдала и сама вперед смотрит, а сама шепчет:

— Я, — говорит, — давно это чуяла, что не мила ему стала, да только совесть его хотела узнать, думала: ничем ему не досажу и догляжусь его жалости, а он меня и пожалел…

И рассказала-с она мне насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и посейчас не могу понять: на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться?

Глава восемнадцатая

Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя еще долго домой не было, а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится… Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала… Сердце болело, и дитя подкатывало… Думала: оно у меня умрет в утробе. А тут, слышу, вдруг и говорят: «Он едет». Все во мне затрепетало… Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться, изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое моревое платье с кружевом, лиф без горлышка… Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится… я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто, и к нему на крыльцо выскочила… Вся дрожу и себя не помню, как крикнула:

— Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый! — да обхватила его шею руками и замерла…

Дурнота с нею сделалась.

— А прочудилась я, — говорит, — у себя в горнице… на диване лежу и все вспоминаю: во сне

или наяву я его обнимала; но только была, — говорит, — со мною ужасная слабость, — и долго она его не видала… Все посылала за ним, а он не шел.

Наконец он приходит, а она и говорит:

— Что же ты меня совсем бросил-позабыл?

А он говорит:

— У меня есть дела.

Она отвечает:

— Какие, — говорит, — такие дела? Отчего же их прежде не было? Изумруд ты мой бралиянтовый! — да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею…

— На счастье, — говорит, — мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезниял и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил; да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит:

— Зачем ты такие грязные шнурки носишь?

А я говорю:

— Что тебе до моего шнурка? Он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота.

А он:

— Тьфу, тьфу, тьфу, — заплевал, заплевал и

ушел, а перед вечером входит сердитый и говорит:

— Поедем в коляске кататься! — и притворился, будто ласковый, и в голову меня поцеловал, а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала.

Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли, а куда едем — никак не доспрошусь у него, но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню, а за пчельнею — двор, и тут встречают нас три молодые здоровые девки-однодворки в мареновых* красных юбках и зовут меня «барыней». Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную.

Меня что-то сразу от всего этого, и особливо от этих однодворок, замутило, и сердце мое сжалось.

— Что это, — спрашиваю его, — какая здесь станция?

А он отвечает:

— Это ты здесь теперь будешь жить.

Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал меня тут, а он и не пожалел — толкнул меня прочь и уехал…

Тут Грушенька умолкла и личико вниз опусти-

ла, а потом вздыхает и молвит:

— Уйти хотела; сто раз порывалась — нельзя: те девки-однодворки стерегут и глаз не спущают… Томилась я, да наконец вздумала притвориться и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотела.

Они меня гулять в лес берут, да все за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей да по кожуре примечаю, куда сторона на полдень, и вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера, после обеда, вышла я с ними на полянку да и говорю:

— Давайте, — говорю, — ласковые, в жмурки по полянке бегать.

Они согласились.

— А наместо глаз, — говорю, — станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить.

Они и на то согласны.

Так и стали. Я первой руки за спину крепконакрепко завязала, а с другою за куст забежала, да и эту там спутала, а на ее крик третья бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила; они кричать, а я, хоть тягостная, ударилась быстрей коня резвого, все по лесу да по лесу, и бежала целую ночь и наутро упала у старых бортей в густой засеке. Тут подошел ко мне старый ста-

ричок, говорит — неразборчиво шамкает, а сам весь в воску, и ото всего от него медом пахнет, и в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу, а он говорит:

— Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдет тебя искать, — вы и встретитесь.

— Дал он мне воды испить и медку на огурчике подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра, — вот и встретились. Спасибо! — и обняла меня, и поцеловала, и говорит: — Ты мне все равно что милый брат.

Я говорю:

— И ты мне все равно что сестра милая, — а у самого от чувства слезы пошли.

А она плачет и говорит:

— Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею; один ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый. Докажи же мне теперь твою последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час.

— Говори, — отвечаю, — что тебе хочется?

— Нет, ты, — говорит, — прежде поклянись чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем

просить стану.

Я ей своим спасеньем души поклялся, а она говорит:

— Это мало: ты это ради меня преступишь. Нет, ты, — говорит, — страшней поклянись.

— Ну, уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать.

— Ну, так я же, — говорит, — за тебя придумала, а ты за мной поспешай, говори и не раздумывай.

Я сдуру пообещался, а она говорит:

— Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь.

— Хорошо, — говорю, — и взял да ее душу проклял.

— Ну, так послушай же, — говорит, — теперь же стань поскорее душе моей за спасителя; моих, — говорит, — больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и *его,* и *ее* порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку… Пожалей меня, родной мой, мой моленый брат, ударь меня раз ножом против сердца.

Я от нее в сторону да крещу ее, а сам пячуся, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещает:

— Ты, — говорит, — поживешь, ты Богу отмолишь и за мою душу, и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла!.. Н… н… н… у…

Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди:

— Нож у меня из кармана достала… разняла… из ручки лезвие выправила. и в руки мне сует… А сама… стала такое несть, что терпеть нельзя…

— Не убьешь, — говорит, — меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной.

Я весь задрожал и велел ей молиться и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку и спихнул…

Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но наконец кто-то откашлянулся и молвил:

— Она утонула?..

— Залилась, — отвечал Иван Северьяныч.

— А вы же как потом?

— Что такое?

— Пострадали небось?

— Разумеется-с.

Глава девятнадцатая

— Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой, и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное, и голова малая, как луновочка, а сам весь обростенький, в полосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель бес, и все я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге, под ракиточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет: ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую. Но только вдруг меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далеконько так покатилась, покатилася, и вдруг Груша идет, только маленькая, не больше как будто ей всего шесть или семь лет, а за плечами у нее малые крылышки; а чуть я

ее увидал, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились.

Думаю я: это непременно ее душа за мной следует, верно, она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда и невмоготу устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкою на телеге парою, и говорят:

— Садись, бедный человек, мы тебя подвезем.

Я сел. Они едут и убиваются:

— Горе, — говорят, — у нас: сына в солдаты берут, а капиталу не имеем, нанять не на что.

Я старичков пожалел и говорю:

— Я бы за вас так, без платы, пошел, да у меня бумаг нет.

А они говорят:

— Это пустяки: то уже наше дело; а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым.

— Что же, — отвечаю, — мне все равно: я своему ангелу Ивану Предтече буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно.

Тем и покончили. И отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монетою двадцать пять рублей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей,

сейчас положил в бедный монастырь — вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более пятнадцати лет и никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков и только на Иванов день Богу за себя молил, через Предтечу ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько: которая течет по Андии*, так и зовется андийская, которая по Аварии* — зовется аварийская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их зачинается Сулак-река*. Но все они, и по себе сами, быстры и холодны, особливо андийская, за которую татарва ушла. Много мы их тут без счету, этих татаров, побили, но кои переправились за Койсу, те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелье на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего, и так они нам вредно чинят, что

стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй бог» говорил и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холоднищую воду опустил, а сам хвалится:

— Помилуй бог, — говорит, — как вода тепла, все равно что твое парное молочко в доеночке. Кто, благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесть?

Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, а не стреляют. Но только что два солдатика-охотничка вызвались и поплыли, как сверкнет пламя — и оба те солдатика в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третьего парою и мало стало охотников, потому что видимо всем,

что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит:

— Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собою знает? Помилуй бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть.

Я и подумал: «Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? Благослови, Господи, час мой!» — и вышел, разделся. «Отчу» прочитал, на все стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: «Ну, Груша, сестра моя названая, прими за себя кровь мою» — да с тем взял в рот тонкую бечеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже под мышками закололо и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву… Поверх наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю, ранен я или не ранен, но только достиг берега… Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями, как песком, осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и

вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и, как сам из себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю: видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица, примерно в шестнадцать лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала… Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит; ну, думаю, надо мне самому это рассказать.

Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит:

— Ой, помилуй бог, — говорит, — какой ты, Петр Сердюков, молодец!

А я отвечаю:

— Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет.

Он вопрошает:

— В чем твой грех?

А я отвечаю:

— Я, — говорю, — на своем веку много неповинных душ погубил, — да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал.

Он слушал-слушал и задумался, и говорит:

— Помилуй бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в

офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю.

Я говорю:

— Как угодно, а только пошлите и туда узнать: не верно ли я показываю, что я цыганку убил?

— Хорошо, — говорит, — и об этом пошлю.

И послали, но только ходила-ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какою цыганкою не было, а Иван-де Северьянов хотя и был, и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер.

Ну что тут мне было больше делать, чем свою вину доказывать?

А полковник говорит:

— Не смей, братец, больше на себя этого врать! Это ты, как через Койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я, — говорит, — очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь; это, брат, помилуй бог, как хорошо.

Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение

было? И сделали-с меня за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку.

— Поздравляем, — говорят, — тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти, помилуй бог, как спокойно. — И письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал. — Ступай, — говорит, — он твою карьеру и благополучие совершит.

Я с этим письмом и добрался до Питера, но не по-счастливило мне насчет карьеры.

— Чем же?

— Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало еще хуже.

— Как на *фиту*? Что это значит?

— Тот покровитель, к которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како: много на них фамилиев начинается и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще из тех, кои по всем ви-

дам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою — только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе; ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься, по старому обыкновению, в кучера, но никто не берет, говорят: ты благородный офицер и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно… Просто хоть повеситься, но я благодаря Бога и с отчаянности до этого себя не допустил, а чтобы с голоду не пропасть, взял да в артисты пошел.

— Каким же вы были артистом?

— Роли представлял.

— На каком театре?

— В балагане на Адмиралтейской площади*. Там благородством не гнушаются и всех принимают: есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много.

— И понравилась вам эта жизнь?

— Нет-с.

— Чем же?

— Во-первых, разучка вся и репетиция идут на Страстной неделе или перед Масленицей, когда

в церкви поют: «Покаяния отверзи ми двери», а во-вторых, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображал.

— Чем же это особенно трудно?

— Как же-с, в двух переменах танцевать надо и кувыркаться, а кувыркаться страсть неспособно, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью; и хвост долгий на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет; а потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно как это докучает. Палки этакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в средине хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпеть, что все по тебе хлоп да хлоп, а иные к тому еще с холоду или для смеху изловчаются и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные: все за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и все это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все всякий, чтобы публику утешить, норовит громче

хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить.

— Что же это с вами случилось?

— Принца одного я за вихор подрал.

— Как — принца?

— То есть не настоящего-с, а театрашного: он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-с его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик и все над всеми шутки выдумывал.

— И над вами?

— И надо мною-с; много шуток строил; костюм мне портил: в грельне, где мы, бывало, над угольями грелися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвост мне к рогам прицепит или еще что глупое сделает на смех, а я не осмотрюсь да так к публике выбегу, а хозяин сердится. Но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка, из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала и этого принца от моих рук спасать должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюли вы-

ходит и с крыльями, а морозы большие, и у нее, у бедной, ручонки совсем посинели, зашлись, а он ее допекает, лезет к ней и, когда мы втроем в апофезе в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало — я его и оттрепал.

— И чем же это кончилось?

— Ничего; в провале свидетелей не было, кроме самой этой феи, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь; а как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал.

— И куда же вы тогда делись?

— Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достается, и я все думал-думал, как этого положения избавиться? На фиту не захотел ворочаться, да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так я взял и пошел в монастырь.

— От этого только?

— Да ведь что же делать-с? Деться было некуда. А тут хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-с; очень полюбил, — здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и на-

чальство смотрит и повиновения спрашивает.

— А вас это повиновение иногда не тяготит?

— Для чего же-с? Что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному, скажут: «Запрягай, отец Измаил» (меня теперь Измаилом зовут), — я запрягу; а скажут: «Отец Измаил, отпрягай», — я откладываю.

— Позвольте, — говорим, — так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались… при лошадях?

— Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен.

— А скоро же вы примете старший постриг?

— Я его не приму-с.

— Это почему?

— Так… Достойным себя не почитаю.

— Это все за старые грехи или заблуждения?

— Да-да-с. Да и вообще зачем? Я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии.

— А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?

— Как же-с, не раз говорил; да что же, когда справок нет… не верят, так и в монастырь светскую ложь занес, и здесь из благородных числюсь. Да уже все равно доживать: стар становлюсь.

История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре.

Глава двадцатая

Так как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани — до монастыря, к которому он, по глубокой вере его, был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натыкался; однако же вышло совсем иное. Один из наших сопутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от беса, и вопросил:

— А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? Ведь он, говорят, постоянно монахов искушает?

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал:

— Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушел и в послании пишет, что «ангел Сатанин был дан ему в плоть», то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства.

— Что же вы от него терпели?

— Многое-с.

— В каком же роде?

— Всё разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны.

— А вы и его, самого беса, тоже пересилили?

— А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание, но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользовать. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит:

— У Якова-апостола сказано*: «Противустаньте дьяволу, и побежит от вас», и ты, — говорит, — противустань. — И тут наставил меня так делать, — что ты, — говорит, — как если почувствуешь сердцераз-жижение и ее вспомнишь, то и разумей, что это, значит, к тебе приступает ангел Сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на колени. Колени у человека, — говорит, — первый инструмент: как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут, в сем возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнуряй себя постом, чтобы заморить, и дьявол, как увидит твое протягновение на подвиг, ни за

что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: «Лучше его оставить и не искушать, авось де он скорее забудется». Я стал так делать, и действительно все прошло.

— Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал?

— Долго-с; и все одним измором его, врага этакого, брал, потому что *он* другого ничего не боится: вначале я и до тысячи поклонов ударял и дня по четыре ничего не вкушал и воды не пил, а потом *он* понял, что ему со мною спорить не ровно, и оробел, и слаб стал: чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, *он* уже понимает, что я не шучу и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно ведь, как *он* боится, чтобы человека к отраде упования не привести.

— Однако же, положим… *он*-то… Это так: вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели!

— Ничего-с, что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал.

— И теперь вы уже совсем от него избавились?

— Совершенно-с.

— И *он* вам вовсе не является?

— В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросеночек издыхает. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, *он* и перестанет хрюкать.

— Ну и слава богу, что вы со всем этим так справились.

— Да-с, соблазны большого беса осилил, но, доложу вам, — хоть это против правила, — а мне мелких бесенят пакости больше этого надокучили.

— А бесенята разве к вам тоже приставали?

— Как же-с. Положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут…

— Что же такое они вам делают?

— Да ведь ребятишки, и притом их там, в аду, очень много, а дела им при готовых харчах никакого нет, вот они и просятся на землю поучиться смущать, и балуются; чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают.

— Что же такое они, например… Чем могут досаждать?

— Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие, весело, в ладоши хлопают и бежат к своему старшому: дескать, и мы «смутили, дай нам теперь за то грошик». Ведь вот из чего бьются… Дети.

— Чем же именно им, например, удавалось вас смутить?

— Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился, и стали все послушники говорить, что это Иуда и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели. А я об нем и не сокрушался, потому что думал: разве мало у нас, что ли, жидов осталось? Но только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу: кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву — нет, все-таки стоит. Я перекрестил — все стоит и опять вздохнул. Ну, что, мол, я тебе сделаю: молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид, да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийц молить, а пошел ты от меня прочь в лес или в пустыню. Положил на него этакое заклятие, он и отошел, а я опять заснул, но на другую ночь

он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает… Мешает спать, да и все тут. Как ни терпел, просто сил нет! Тьфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда, в конюшню, ко мне ломиться? Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать: взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал, и как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе: уж теперь не придет, да только что с этим заснул, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает! Тьфу ты, каторжный, ничего с ним не поделаешь! Всю как есть эту ночь он меня этак пугал, а утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю, а меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит:

— Чего ты такой пужаный?

Я говорю:

— Так и так, такое мне во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю.

А брат Диомид отвечает:

— Брось, — говорит, — и не ходи, настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь *пресердитый* и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать.

Я говорю:

— А мне совершенно все равно; только, сделай милость, помоги, — я тебе за это старые теплые рукавицы подарю, тебе в них зимою звонить будет очень способно.

— Ладно, — отвечает.

И я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр-апостол написан и в руке у него ключи от Царства Небесного.

— Вот это-то, — говорит, — и самое важное есть — *ключи*: ты этою дверью только заставься, так уже через нее никто не пройдет.

Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне этою дверью заставляться да потом ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил ее на самых надежных плотных петлях, а для безопаски еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня и все это исправил в тишине в один день до вечера и, как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать, слышу: опять дышит. Просто ушам своим не верю, что это можно, ан нет: дышит, да и только! Да еще мало этого, что дышит, а прет дверь… При

старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святость ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было, то он ее так и пихает, и все раз от разу смелее, и наконец вижу, как будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блоке — и его как свистнет со всей силы назад… А он отскочил, видно, почесался, да, мало обождавши, еще смелее, и опять морда, а блок ее еще жестче — щелк! Больно, должно быть, ему показалось, и он усмирел и больше не лезет, я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся, да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал да как лизнет меня в ухо… Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил топор да как тресну его, слышу — замычал и так и бякнул на месте. «Ну, — думаю, — так тебе и надо». А вместо того утром, гляжу, никакого жида нет, а это они, подлецы, эти бесенята, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы ее поранили?

— Так и прорубил топором-с. Смущение ужас-

ное было в монастыре.

— И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели?

— Получил-с: отец игумен сказали, что это все оттого мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда напереди у решетки для возжигания свеч стоял; а они тут, эти пакостные бесенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самого на Мокрого Спаса*, на всенощной, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит:

— Поставь, батюшка, празднику.

Я подошел к аналою, где положена икона Спас на Водах, и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилепливать — две уронил. Стал их вправлять, ан, гляжу — четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелята досаждают и из рук рвут… Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь да как затылком махну под низ об подсвечник — а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился да взял и все остальные свечи рукой посбивал. «Что же, — думаю, — если

этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину».

— И что же с вами за это было?

— Под суд меня за это хотели было отдать, да схимник, слепенький старец Сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился.

— За что, — говорит, — вы его будете судить, когда это его Сатанины служители смутили.

Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить.

— Надолго же вас в погреб посадили?

— А отец игумен не благословили, на сколько именно времени, а так сказали только, что «посадить», я все лето до самых до заморозков тут и сидел.

— Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?

— Ну, нет-с, как же можно сравнить? Здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут, и поговорим, а отец казначей жернов мне на веревке велели спустить, чтобы я соль для поварни молол. Какое же сравнение со степью или с другим местом.

— А потом когда же вас вынули? Верно, при морозах, потому что холодно стало?

— Нет-с, это не потому, совсем не для холода,

а для другой причины, так как я стал пророчествовать.

— Пророчествовать?

— Да-с, я в погребу наконец в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усовершаюсь, и послал я одного послушника к оному учительному старцу спросить: можно ли мне у Бога просить, чтобы другой, более соответственный дух получить? А старец наказал мне сказать, что «пусть, — говорит, — помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает».

Я так и сделал: три ночи все на этом инструменте, на коленях, стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок, Геронтий, был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал, и дал он мне один раз читать Житие преподобного Тихона Задонского*, и когда, случалось, мимо моей ямы идет, всегда, бывало, возьмет да мне из-под ряски газету кинет.

— Читай, — говорит, — и усматривай полезное, во рву это тебе будет развлечение.

Я, в ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю соль, что мне на урок назначено

перемолоть, перемелю, и начинаю читать, и начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келпи Пресвятая Владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник Божий Тихон стал тогда просить Богородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда, — говорит, — все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапу всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять: к чему было святому от апостола в таких словах откровение? Наконец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас, и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сближается реченное: «егда рекут мир, нападает внезапу всегубительство», и я исполнился страха за народ свой русский и начал молиться и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещевать: молитесь, мол, о покорении под нозе царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы, дивно обильные!.. Все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили,

что, говорят, наш Измаил в погребе стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевесть и поставить мне образ *«Благое Молчание»,* пишется Спас с крылами тихими, в виде ангела, но в Саваофовых чинах заместо венца, а ручки у груди смирно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны взаперти там и пребывал, в этой избе, и все *«Благому Молчанию»* молился, но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не поврежден ли? Лекарь со мною долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул.

— Экий, — говорит, — ты, братец, барабан: били тебя, били, и все никак еще не добьют.

Я говорю:

— Что же делать? Верно, так нужно.

А он, все выслушавши, игумену сказал:

— Я, — говорит, — его не могу разобрать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель. Это, — говорит, — по вашей части, а я в этом не сведущ. Мнение же мое

такое: прогоните, — говорит, — его куда-нибудь подальше пробегаться, может быть, он засиделся на месте.

Вот меня и отпустили, и я теперь на богомоление в Соловки к Зосиму и Савватию* благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал и хочу им перед смертью поклониться.

— Отчего же «перед смертью»? Разве вы больны?

— Нет-с, не болен; а все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать.

— Позвольте, как же это вы опять про войну говорите?

— Да-с.

— Стало быть, вам *«Благое Молчание»* не помогло?

— Не могу знать-с; усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.

— Что же он?

— Все свое внушает: «Ополчайся».

— Разве вы и сами собираетесь идти воевать?

— А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.

— Как же вы, в клобуке и в рясе пойдете воевать?

— Нет-с, я тогда клобучок сниму, а амуничку

надену.

Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? Повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещания его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.



Кадетский монастырь

Глава первая



У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться — они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше чем когда-нибудь пряталось от света. И, заметьте,

все не из чернородья и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее; но тогда были… Верно, и теперь есть, только, разумеется, искать надо.

Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности, — сразу о четырех праведных людях так называемой «глухой поры», хотя я уверен, что тогда подобных было очень много.

Глава вторая

Воспоминания мои касаются Первого петербургского кадетского корпуса, и именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу въявь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история.

До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст — на камеры. В каждой камере было по двадцати человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые «аббаты», — французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по пяти тысяч рублей в год жалованья, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежуря по две недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знание иностранных языков между кадетами было очень значительно, и этим, конечно, объясняется, почему Первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатиче-

ских посылок и сношений.

Император Павел Петрович как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же приказал: «Аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых»[54].

С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые до той сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках.

Я прошу верить, а лично слышащих меня — засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время. Я не чужд направлений нашей литературы: я читал и до сих пор читаю не только что мне нравится, но часто и то, что не нравится, и знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют «глухое», что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь «скалозубами», что,

---

[54] Примечания: 54

Из «Краткой истории Первого кадетского корпуса» (1832), составленной Висковатовым, видно, что это произошло 16 января 1797 года. (*Примеч. автора.)*

может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем.

Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время; видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то и другое, а я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и *как* воспитывал, то есть какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатлелись на сердце, потому что — грешный человек — вне этого, то есть без живого, возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны.

Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам.

Глава третья

№ 1. *Директор, генерал-майор Перский** (из воспитанников лучшего времени Первого же корпуса). Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное «матушкою Екатериною». Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упротивность, что на него махнули рукою и подаренное ему «матушкою» имение оставили в его владении.

Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него «внимания и покровительства».

Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего, вероятно, потому, что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал:

— Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное — вы знайте только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды.

На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъегозчик», и этого преступления кадеты *никогда не прощали.* С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош и худ, но он несомненно воспитывал в детях понятия чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба.

Михаил Степанович Перский был замечательная личность: он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре, или он считал обязанностию служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами и все, что ни делал, то делал для

нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом: всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу «по форме», держался прямо и молодцевато и имел важную, величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха.

Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание, и один раз, когда его увидали с сопровождавшим его вестовым на тротуаре, весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие: «Михаил Степанович прошел по улице!»

Ему, впрочем, и некогда было разгуливать: будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности четыре раза в день *непременно* обходил все классы. У нас было четыре перемены уроков, и Перский *непременно* побывал *на каждом уроке.* Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офи-

цера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери.

Перский *исключительно* занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказания за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание: кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя и скажет своим чистым, отчетливым голосом:

— Ду-ур-рной кадет!..

И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем «утешить Михаила Степановича».

Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже *для нас.* Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же у места будет сказать, что это, кажется, совершенно справедливо. По крайней мере, знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал:

— Мне Провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных. — И это

в его правдивых устах, конечно, была не фраза.

Глава четвертая

Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания, — он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал, да и, по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов: комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты.

Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дортуаров*, столовых и малолетнего отделения, где были дети от четырехлетнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платье, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с судками за

обедом, не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими же стряпунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много, и Перский кушал этот самый обед, платя за него экономy такую же точно скромную плату, как и все другие.

Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а, имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников вверенного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошалости перейти в привычную леность. Всякий получивший сегодня неудовлетворительный балл мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным, белым пальцем в лоб и скажет:

— Дурной кадет.

И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за

науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранялся, вероятно, потому, что нельзя было, по тогдашнему обычаю, обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны.

Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты Ореус.

Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписания и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того чтобы завтра опять встать немного нас пораньше.

Так проводил изо дня в день много лет кряду этот достойный человек, которого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил и умер честным человеком, без пятна и упрека; но этого мало: это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие, однако все это *только честность.* А

у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали *своею,* то есть нашею, кадетскою, потому что Михайло Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предания кадетства.

Глава пятая

По некоторому стечению обстоятельств мы, ребятишки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а *резервная* рота выходила на фас. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам, из наших окон, было все видно.

Кто знает графически это положение, тот его поймет, а кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю.

Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался Исаакиевским мостом. Из окон фаса нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из баталиона Московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после шести часов вечера открыли огонь из шести орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и,

перебравшись на наш берег, человек шестнадцать вошли в ворота корпуса, и тут который где привалились, — кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям.

Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего баталиона Московского полка.

Кадеты, услыхав об этом или увидав раненых, без удержа, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались с своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую «передачу», то есть по всему

фронту передали шепотом слова: «Пирогов не есть, — раненым. Пирогов не есть, — раненым...» Эта «передача»[55] была прием обыкновенный, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные «на хлеб и на воду».

Делалось это таким образом: когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадер, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, «шло приказание», передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой, лаконической форме. Например:

«Есть арестанты — пироги не есть».

Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет, и несмотря на то что утаить и вынесть из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. «Не едят,

---

[55] Примечания: 55

Воспитанники корпуса позднейших выпусков говорят, что у них не было слова «передача», но я оставляю так, как мне сказано кадетом-старцем. (*Примеч. авт.)*

уносят, — ну и пускай уносят». Худа в этом не полагали, да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела: оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести.

Так было и в этот для некоторых из нас очень многопоследственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу:

— Пирогов не есть, — раненым.

И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято: пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны.

День кончился по обыкновению, и мы уснули, нимало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело.

Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова осуждения, а, на-

против, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание.

Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности, а она была начеку и двигалась на нас как будто нарочно затем, чтобы показать нам Михаила Степановича в таком величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба.

Глава шестая

Пятнадцатого декабря в корпус неожиданно приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен.

Перскому дали знать, и он тотчас же явился из своей квартиры и, по обыкновению, отрапортовал его величеству о числе кадет и о состоянии корпуса.

Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать:

— Здесь дух нехороший!

— Военный, ваше величество, — отвечал полным и спокойным голосом Перский.

— Отсюда Рылеев* и Бестужев! — по-прежнему с неудовольствием сказал император.

— Отсюда Румянцев*, Прозоровский*, Каменский*, Кульнев* — все главнокомандующие, и отсюда Толь*, — с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский.

— Они бунтовщиков кормили! — сказал, показав на нас рукою, государь.

— Они так воспитаны, ваше величество, — драться с неприятелем, но после победы призре-

вать раненых, как своих.

Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал.

Перский своими откровенными и благородными верноподданническими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человечное, но уже недолго: близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения.

Глава седьмая

Ровно через год после декабрьского бунта, именно 14 декабря 1826 года, главным директором всех кадетских корпусов вместо генерал-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова* был назначен генерал-адъютант, генерал от инфантерии Николай Иванович Демидов*, человек чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и без того трепетали в войсках, где имя его произносилось с ужасом, а для нас он получил особенное приказание «подтянуть».

Демидов велел собрать совет и приехал в корпус. Совет состоял из директора Перского, баталионного командира полковника Шмидта (человека превосходной честности) и ротных командиров: Ореуса (секуна), Шмидта 2-го, Эллермана и Черкасова, который перед тем долгое время преподавал фортификацию, так что пожалованный в графы Толь в 1822 году был его учеником.

Демидов начал с того, что сказал:

— Я желаю знать имена кадет, которые дурно себя ведут. Прошу сделать им особый список.

— У нас нет худых кадет, — отвечал Перский.

— Однако же, конечно, непременно одни ведут себя лучше, другие хуже.

— Да, это так; но если отобрать тех, которые хуже, то в числе остальных опять будут лучшие и худшие.

— Должны быть внесены в список самые худшие, и они в пример прочим будут посланы в полки унтер-офицерами.

Перский никак этого не ожидал и, выразив непритворное удивление, возразил со всегдашним своим самообладанием и спокойствием:

— Как в унтер-офицеры?! За что?

— За дурное поведение.

— Нам вверили их родители с четырехлетнего возраста, как вам известно. Следовательно, если они дурны, то в этом мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажем родителям? То, что мы довоспитали их детей до того, что их пришлось сдать в полки нижними чинами. Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли их, чем ссылать их без вины в унтер-офицеры?

— Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить.

— А! В таком случае не для чего было собирать совет, — отвечал Перский. — Вы бы изволили так сказать сначала, и что приказано, то должно

быть исполнено.

Результат был тот, что на другой день, когда мы сидели за учебными занятиями, классы обходил адъютант Демидова Багговут и, держа в руках список, вызывал по именам тех кадет, у которых были наихудшие отметки за поведение.

Вызванным Багговут приказал идти в фехтовальную залу, которая была так расположена, что мы из классов могли видеть все там происходившее. И мы видели, что солдаты внесли туда кучу серых шинелей и наших товарищей одели в эти шинели. Затем их вывели на двор, рассадили там с жандармами в заготовленные сани и отправили по полкам. Само собою разумеется, что паника была ужасная. Нам объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будут вести себя неудовлетворительно, то такие высылки станут повторяться. Для оценки поведения была назначена отметка *сто баллов* и сказано, что если кто будет иметь менее семидесяти пяти баллов, то такой будет немедленно отдан в унтер-офицеры.

Само начальство было в немалом затруднении, как располагать оценку поведения по этой новой, стобалльной системе, и мы слыхали об этом недоумении переговоры, которые окончились тем,

что начальство стало нас щадить и оберегать, милостиво относясь к нашим ребячьим грешкам, за которые над нами была утверждена такая страшная кара. Мы же так скоро с этим освоились, что чувство минутного панического страха вдруг заменилось у нас еще большею отвагою: скорбя за исключенных товарищей, мы иначе не звали между собою Демидова, как «варвар», и вместо того, чтобы робеть и трястись его образцового жестокосердия, решились идти с ним в открытую борьбу, в которой хотя всем пропасть, но показать ему «наше презрение к нему и ко всем опасностям».

Случай представился к этому немедленно же, и очень трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не подоспели нам на помощь находчивый ум и большой такт никогда не ходившего за словом в карман Перского.

Глава восьмая

Ровно через неделю после того, как от нас были отлучены и сосланы в унтер-офицеры наши товарищи, нам было приказано идти в ту же фехтовальную залу и построиться там в колонны. Мы исполнили приказание и ждали, что будет, а на душе у всех жутко.

Вспомнили, что стоим на тех самых половицах, на которых стояли наши несчастные товарищи перед грудами приготовленных для них солдатских шинелей, и так вот варом и закипит на душе… Как они, сердечные, должно быть, были изумлены и поражены этою неожиданностью, и где-то и как они стали приходить в себя и проч. и проч. Словом сказать: душевная мука, — и стоим мы все, понурив головочки уныло, и вспоминаем Демидова-«варвара», но ни капли его не боимся. Пропадать, так всем заодно пропадать, — знаете, ступень такая… освоились. И в это-то время вдруг отворяются двери, и является сам Демидов вместе с Перским и говорит:

— Здравствуйте, деточки!

Все молчали. Ни уговора, ни моментальной «передачи» при его появлении не было, а так

просто, от чувства негодования, ни у одного уста не раскрылись отвечать. Демидов повторил:

— Здравствуйте, деточки!

Мы опять молчали. Дело переходило в сознательное упорство, и момент принимал самый острый характер. Тогда Перский, видя, что из этого произойдет большая неприятность, сказал Демидову громко, так что все мы слышали:

— Они не отвечают, потому что не привыкли к выражению вашему *«деточки»*. Если вы поздороваетесь с ними и скажете: «Здравствуйте, *кадеты!»* — они непременно вам ответят.

Мы очень уважали Перского и поняли, что, говоря эти слова так громко и так уверенно Демидову, он в то же время главным образом адресует их нам, доверяя себя самого нашей совестливости и нашему рассудку. Опять, без всякого уговора, все сразу поняли его едиными сердцами и поддержали его едиными устами. Когда Демидов сказал: «Здравствуйте, кадеты!» — мы единогласно ответили известным возгласом: «Здравия желаем!»

Но это не был конец истории.

Глава девятая

После того как мы прокричали свое «здравия желаем», Демидов спустил с себя строгость, которою начал было набираться, когда мы не отвечали на его противную ласку, но сделал нечто еще более для нас неприятное.

— Вот, — сказал он голосом, который хотел сделать ласковым и делал только приторным, — вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим.

Он кивнул вестовому Ананьеву, который скорыми шагами вышел за двери и тотчас же возвратился в сопровождении нескольких солдат, несших большие корзины с дорогими кондитерскими конфектами в изукрашенных бумажках.

Демидов остановил корзины и, обратясь к нам, сказал:

— Вот тут целые пять пудов* конфект (кажется, пять, а может быть, было и более) — это всё для вас, берите и кушайте.

Мы не трогались.

— Берите же, — это для вас.

А мы тоже ни с места; но Перский, видя это, дал знак солдатам, державшим демидовское угощение, и те стали носить корзины по рядам.

Мы опять поняли, чего хочет наш директор, и не позволили себе против него никакой неуместности, но демидовское угощение мы все-таки есть не стали и нашли ему особое определение. В то самое мгновение, как первый фланговый из наших старших гренадер протянул руку к корзине и взял горсть конфект, он успел шепнуть соседу:

— Конфекты не есть — в яму.

И в одну минуту «передача» эта пробежала по всему фронту с быстротою и с незаметностью электрической искры, и ни одна конфекта не была съедена. Как только начальство ушло и нас пустили порезвиться, мы все друг за другом, веревочкою, пришли в известное место, держа в руках конфекты, и все бросили их туда, куда было указано.

Так и кончилось это демидовское угощение. Ни один малыш не слукавил и не соблазнился конфектою: все бросили. Да иначе и нельзя было: дух дружества и товарищества был удивительный, и самый маленький новичок проникался им быстро и подчинялся ему с каким-то священным восторгом. Нас нельзя было подкупить и заласкать никакими лакомствами: мы так были преданы начальству, но не за ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которые

видели в таких людях, как Михаил Степанович Перский — главный командир или, лучше сказать, игумен нашего кадетского монастыря, где он под стать себе умел подобрать таких же и старцев.

Впрочем, он ли их умел подбирать, или они сами к нему под стать подбирались, дабы жить в отрадном согласии, — этого я не знаю, потому что мы малы были, чтобы вникать в такие вещи; но что знаю о сподвижниках Михаила Степановича, то тоже расскажу.

Глава десятая

Второй номер за игуменом в монастырях принадлежит *эконому.* Так было и у нас, в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым эконом в чине бригадира — Андрей Петрович *Бобров*.*

Я ставлю его вторым только по подчиненности и потому, что нельзя всех поставить вместе в первых, но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высокозамечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее.

Он, разумеется, был *холост,* как и надо по-монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Только не так любил, как иные любят, — теоретически, в рассуждениях, что, мол, «это будущность России», или «наша надежда», или же еще что-нибудь подобное, вымышленное и пустяковое, за чем часто нет ничего, кроме эгоизма и бессердечия. А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было

нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит и о нас печется, и никто бы нас в этом не мог разубедить.

Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицею и по опрятности составлял самый резкий контраст с Перским, а был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный-презасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно, но Андрей Петрович нимало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле и в нем же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем. Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров девает свое жалованье, и из уважения к нему не хотел замечать его неряшество.

У Боброва была Анна* с бриллиантами на шее, которую он носил постоянно, а уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире.

Он заведовал всей экономическою частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспрестанно занятый научною частью, директор Перский

совсем не вмешивался в хозяйство, да это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично.

В ведении Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадет и всей прислуги без исключения. Сумма расходов простиралась до шестисот тысяч рублей ежегодно, а за сорок лет его экономского служения у него, значит, обратилось до двадцати четырех миллионов, но к рукам ничего не прилипло. Напротив, даже три тысячи рублей положенного ему жалованья он не получал, а только в нем расписывался, и когда этот денежный человек на сороковом году своего экономства умер, то у него не оказалось своих денег ни гроша, и его хоронили на казенный счет.

Я скажу в конце, куда он девал свое жалованье, на какую проматывал его необходимую страстишку, о которой, как выше замечено, будто бы и знал покойный император Николай Павлович.

Глава одиннадцатая

По обычаю своему Бобров был такой же домосед, как и Перский. Сорок кряду лет он буквально не выходил из корпуса, но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело, все хлопотал, «чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты». *Мошенники* эти были мы — так он называл кадет, разумеется употребляя это слово как ласку, как шутку. Мы это знали.

Всякий день он вставал в пять часов утра и являлся к нам в шесть часов, когда мы пили сбитень; после этого мы шли в классы, а он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил «кормить» и кормил нас прекрасно и очень сытно. Наш нынешний государь в отрочестве своем не раз кушивал с нами за общим кадетским столом и, вероятно, еще изволит помнить нашего «старого Бобра»[56]. Порций, как это водится во всех заведениях, у нас при Боброве не было —

---

[56] Примечания: 56

В «Краткой истории Первого кадетского корпуса» есть упоминания о том, что государь император Александр Николаевич в отрочестве посещал корпус и там кушал с кадетами. *(Примеч. авт.)*

все ели сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо; белье заставлял переменять три раза в неделю. Был очень жалостлив и даже баловник, что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим, но не всё: водились и такие вещи, которые Андрей Петрович по добросердечию своему не мог не сделать, но знал, что они незаконны, и он, бригадир, скрывался с ними, как школьник. Это больше всего касалось кадет, подвергнутых наказанию. Тут он весь вне себя был, сдерживался, но внутренне ужасно болел, кипятился, как самоварчик, и наконец не выдерживал, чтобы чем-нибудь не «утешить мошенника». Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать, но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет:

— Пошел, мошенник, вперед себя не доводи!

Особенная же забота у него шла о кадетах-арестантах, которых сажали на хлеб на воду в такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подаяние. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных, но кадеты не упускали случая с своей стороны еще ему особенно об этом напомнить. Бывало, проходя мимо его из столовой, под рит-

мический топот шагов как бы безотносительно произносят:

— Пять арестантов, пять арестантов, пять арестантов.

А он или стоит только, выпуча свои глазки, как будто ничего не слышит, или, если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном:

— Мне что за дело, мне что за дело, мне что за дело.

Но когда посаженных на хлеб на воду выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил, а по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел.

Сам им, бывало, кашу маслит и торопится тарелки подставлять, а сам твердит:

— Скорее, мошенник, скорее глотай!

Все при этом часто плакали — и арестанты, и он, их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира.

Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если, бывало, случится ему по неосторожности попасть в это

время на плац, то сейчас же раздавался крик:

— Андрей Петрович на плацу!

Больше ничего не нужно было, и все знали, что делать: все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно.

Это ему было тяжело, потому что он был толстенький кубик, — ворочается, бывало, у нас на руках, кричит:

— Мошенники! Вы меня уроните, убьете!.. Это мне нездорово, — но это не помогало.

Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалованья, а только расписываться.

Глава двенадцатая

У нас очень много было людей бедных, и когда нас выпускали, то выпускали на бедное же офицерское жалованье. А мы ведь были младенцы, о доходных местах и должностях, о чем нынче грудные младенцы знают, у нас и мыслей не было. Расставались не с тем, что я так-то устроюсь или разживусь, а говорили:

— Следите за газетами: если только наш полк будет в деле, — на приступе первым я.

Все так собирались, а многие и исполнили. Идеалисты были ужасные. Андрей Петрович сожалел о бедняках и безродных и хотел, чтобы и из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал всем бедным приданое — серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по три перемены белья, две столовые серебряные ложки, по четыре чайных, восемьдесят четвертой пробы. Белье давалось для себя, а серебро — для «общежития».

— Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щей хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое, — так вот, чтобы было чем…

Так это и соразмерялось — накормить хоть одного, а чайком напоить до четырех собратов. Все до мелочей и вдаль, на всю жизнь, внушалось о товариществе, и диво ли, что оно было?

Ужасно трогательный был человек, и сам растрогивался сильно и глубоко. Поэтически мог вдохновлять, и Рылеев, как я сказал, написал ему оду, которая начиналась словами:

О ты, почтенный эконом Бобров!

Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности, и любовь эта в нас не ослабевала ни с летами, ни с переменою положения. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус «явиться Андрею Петровичу» — «старому Бобру». И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека незнакомого с знаками заслуг, а иногда и в большом чине и встретит официально вопросом: «Что вам угодно?» А потом, как тот назовет себя, он сейчас сделает шаг назад и одной рукой начнет лоб почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другою отстраняет гостя.

— Позвольте, позвольте, — говорит, — позвольте! — И если тот не спешил вполне открыться,

то он ворчал: — У нас был… мошенник… не из наших ли?..

— Ваш, ваш, Андрей Петрович! — отвечал гость или же, порываясь к хозяину, показывал ему его «благословение» — серебряную ложечку.

Но тут вся сцена становилась какою-то дрожащею. Бобров топал ногами, кричал: «Прочь, прочь, мошенник!» — и с этим сам быстро прятался в угол дивана, за стол, закрывал оба глаза своими пухленькими кулачками или синим бумажным платком и не плакал, а рыдал, рыдал звонко, визгливо и неудержимо, как нервическая женщина, так что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожали и лицо наливалось кровью.

Удержать его было невозможно, а так как это не раз бывало с ним при таких крайне волновавших его встречах, то денщик его это знал и сейчас ставил перед ним на подносике стакан воды. Более никто ничего не предпринимал. Истерика восторга кончалась, старик сам выпивал воду и, вставая, говорил ослабевшим голосом:

— Ну… теперь поцелуй, мошенник!

И они целовались долго-долго, причем многие, конечно, без всякого унижения или ласкательства целовали у него руки, а он уже только с

блаженством повторял:

— Вспомнил, мошенник, старика, вспомнил. — И сейчас же усаживал гостя и сам принимался доставать из шкафа какой-то графинчик, а денщика посылал на кухню за кушаньем.

Отказаться от этого никто не мог. Иной, бывало, отпрашивается:

— Андрей Петрович! Я, — говорит, — зван и обещался к такому-то или к такому-то, какому-нибудь важному лицу.

Ни за что не отпустит.

— Знать ничего не хочу, — говорит, — важные лица тебя не знали, когда я тебя на кухне кормил. Пришел сюда, так ты *мой,* — и должен из старого корыта почавкать. Без того не выпущу.

И не выпустит.

Рацей* он никогда не читал, а только *жил* перед нами и остался жить после того, как его в конце сорокового года службы за недостаточностию на казенный счет похоронили.

Глава тринадцатая

Теперь *третий* постоянный инок нашего монастыря — наш корпусный доктор *Зеленский**. Он тоже был холост, тоже был домосед. Этот даже превзошел двух первых тем, что жил в лазарете, в последней комнате. Ни фельдшер, ни прислуга — никто никогда не могли себя предостеречь от внезапного его появления у больных: он был тут как днем, так и ночью. Числа визитаций у него не полагалось, а он всегда был при больных. В день несколько раз обойдет, а кроме того, еще навернется иногда невзначай и ночью. Если же случался труднобольной кадет, так Зеленский и вовсе его не оставлял — тут и отдыхал, возле больного, на соседней койке.

Этот доктор по опрятности был противоположность Перскому и родной брат эконому Боброву. Он ходил в сюртуке, редко вычищенном, часто очень изношенном и всегда расстегнутом, и цвет воротника у него был такой же, как у Андрея Петровича, то есть нераспознаваемый.

Он был телом и душою наш человек, как и два первые. Из корпуса он не выходил. Это, может быть, покажется невероятным, но это так. Ни-

какими деньгами нельзя было его заставить выехать с визитом на сторону. Был один пример, что он изменил своему правилу, когда приехал в Петербург великий князь Константин Павлович из Варшавы. Его высочество посетил одну статс-даму, которую застал в страшном горе: у нее был очень болен маленький сын, которому не могли помочь тогдашние лучшие доктора столицы. Она посылала за Зеленским, который славился отличным знатоком детских болезней, в коих имел, разумеется, огромный навык, но он дал свой обыкновенный ответ:

— У меня на руках тысяча триста детей, за жизнь и здоровье которых я отвечаю, и на стороны разбрасываться не могу.

Огорченная его отказом статс-дама сказала об этом великому князю, и Константин Павлович, будучи шефом Первого кадетского корпуса, изволил *приказать* Зеленскому поехать в дом этой дамы и *вылечить* ее ребенка.

Доктор повиновался — поехал и скоро вылечил больное дитя, но платы за свой труд не взял.

Одобряет ли кто или не одобряет этот его поступок, но я говорю, как происходило.

Глава четырнадцатая

Зеленский был доктор отличный и, сколько я могу теперь понимать, вероятно, относился к новой медицинской школе: он был гигиенист и к лекарствам прибегал только в самых редких случаях; но тогда насчет медикаментов и других нужных врачебных пособий был требователен и чрезвычайно настойчив. Что он назначил и потребовал — это уже чтоб было, да, впрочем, и сопротивления-то некому было оказывать. О пище уж и говорить нечего: разумеется, какую порцию ни потребуй, Бобров не откажет. Он и здоровых «мошенников» любил кормить досыта, а про больных уже и говорить нечего. Но я помню раз такой случай, что доктор Зеленский для какого-то больного потребовал вина и назначил его на рецепте словами: «такой-то номер по прейскуранту Английского магазина».

Солдат понес требование экономy, и через несколько минут идет сам Андрей Петрович.

— Батенька, — говорит, — вы знаете ли, сколько этот номер вина за бутылку стоит? Он ведь стоит восемнадцать рублей.

А Зеленский ему отвечал:

— Ян знать, — говорит, — этого не хочу: это вино для ребенка нужно.

— Ну а если нужно, так и толковать не о чем, — отвечал Бобров и сейчас же вынул деньги и послал в Английский магазин за указанным вином.

Привожу это, между прочим, в пример тому, как они все были между собою согласны в том, что нужно для нашей выгоды, и приписываю это именно той их крепкой друг в друге уверенности, что ни у кого из них нет более драгоценной цели, как *наше* благо.

Имея на руках в числе тысячи трехсот человек двести пятьдесят малолетних от четырех до восьми лет, Зеленский тщательнейше наблюдал, чтобы не допускать повальных и заразительных болезней, и заболевавших скарлатиною сейчас же отделял и лечил в темных комнатах, куда не допускал капли света. Над этой системой позже смеялись, но он считал ее делом серьезным и всегда ее держался, и оттого ли или не оттого, но результат был чудесный. Не было случая, чтобы у нас не выздоровел мальчик, заболевший скарлатиною. Зеленский на этот счет немножко бравировал. У него была поговорка:

— Если ребенок умрет от горячки, доктора надо

повесить за шею, а если от скарлатины — то за ноги.

Мелких чиновных лиц у нас в корпусе было очень мало. Например, вся канцелярия такого громадного учреждения состояла из одного бухгалтера Паутова — человека, имевшего феноменальную память, да трех писарей. Только и всего, и всегда все, что нужно, было сделано, но при больнице Зеленский держал большой комплект фельдшеров, и ему в этом не отказывали. К каждому серьезному больному приставлялся отдельный фельдшер, который так возле него и сидел — поправлял его, одевал, если раскидывается, и подавал лекарство. Отойти он, разумеется, не смел и подумать, потому что Зеленский был тут же, за дверью, и каждую минуту мог выйти; а тогда, по старине, много не говоря, сейчас же короткая расправа: зуботычина — и опять сиди на месте.

Глава пятнадцатая

Веруя и постоянно говоря, что «главное дело не в лечении, а в недопущении, в предупреждении болезней», Зеленский был чрезвычайно строг к прислуге, и зуботычины у него летели за малейшее неисполнение его гигиенических приказаний, к которым, как известно, наши русские люди относятся как к какой-то неосновательной прихоти. Зная это, Зеленский держался с ними морали крыловской басни «Кот и повар». Не исполнено или неточно исполнено его приказание — не станет рассуждать, а сейчас же щелк по зубам и пошел мимо.

Мне немножко жаль сказывать об этой привычке скорого на руку доктора Зеленского, чтобы скорые на осуждение современные люди не сказали: «Вот какой драчун или держиморда», но чтобы воспоминания были верны и полны, из песни слова не выкинешь. Скажу только, что он не был держиморда, а был даже добряк и наисправедливейший и великодушнейший человек, но был, разумеется, человек *своего времени,* а время его было такое, что зуботычина за великое не считалась. Тогда была другая мерка: от человека

требовали, чтобы «никого не сделать несчастным», и этого держались все хорошие люди, а в том числе и доктор Зеленский.

В видах *недопущения болезней*, прежде чем кадет вводили в классы, Зеленский проходил все классные комнаты, где в каждой был термометр. Он требовал, чтобы в классах было не меньше 13° и не больше 15°. Истопники и сторожа должны были находиться тут же, и если температура не выдержана — сейчас врачебная зубочистка. Когда мы садились за классные занятия, он точно так же обходил роты, и там опять происходило то же самое.

Пищу нашу он знал хорошо, потому что сам другой пищи не ел; он *всегда* обедал или с больными в лазарете, или с здоровыми, но не за особым, а за общим кадетским столом, и притом не позволял ставить себе избранного прибора, а садился где попало и ел то самое, чем питались мы.

Осматривал он нас каждую баню в предбаннике, но, кроме того, производил еще внезапные ревизии — вдруг остановит кадета и прикажет раздеться донага; осмотрит все тело, все белье, даже ногти на ногах оглядит — выстрижены ли.

Редкое и преполезное внимание!

Но теперь, оканчивая и с ним, я скажу, что у

этого третьего известного мне истинного друга детей составляло его удовольствие.

Глава шестнадцатая

Удовольствие доктора Зеленского заключалось в том, что, когда назначенные из кадет к выпуску в офицеры ожидали высочайшего приказа о производстве, он выбирал из них пять-шесть человек, которых знал, отличал за способности и любил. Он записывал их больными и помещал в лазарете, рядом с своей комнатой, давал им читать книги хороших авторов и вел с ними долгие беседы о самых разнообразных предметах.

Это, конечно, составляло некоторое злоупотребление, но если вникнуть в дело, то как это злоупотребление покажется простительно!

Надо только вспомнить, что было наделано с корпусами с тех пор, как они попали в руки Демидова, который, как выше было сказано, получил приказание их «подтянуть» и, кажется, слишком переусердствовал в исполнении. Думаю так потому, что графы Строганов* и Уваров*, действуя в то же время, ничего того не наделали, что наделал Демидов с корпусами. Под словом «подтянуть» Демидов понял — *остановить образование.* Теперь уже, разумеется, не было никакого места прежней задаче, чтобы корпус мог выпускать

таких образованных людей, из коих при прежних порядках без нужды выбирали лиц, способных ко всякой служебной карьере, не исключая и дипломатической. Наоборот, все дело шло о том, чтобы сузить наш умственный кругозор и всячески понизить значение науки. В корпусе существовала богатая библиотека и музеум. Библиотеку приказали *запереть*, в музеум не водить и наблюдать, чтобы никто не смел приносить с собою никакой книги из отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещение, кто-нибудь принес из отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или, еще хуже, сам написал что-либо, то за это велено было подвергать строгому телесному наказанию розгами. Причем в определении меры этого наказания была установлена оригинальная постепенность: если кадет изобличался в прозаическом авторстве (конечно, смирного содержания), то ему давали двадцать пять ударов, а если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то, что Рылеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса. Книжечка всеобщей истории, не знаю кем составленная, была у нас едва ли не в двадцать страничек, и на обертке ее было обозначено: «Для воинов и для жителей». Прежде она была надписана: «Для воинов и для граждан» — так надписал

ее искусный составитель, — но это было кем-то признано за неудобное, и вместо *«для граждан»* было поставлено «для жителей». Даже географические глобусы велено было вынести, чтобы не наводили на какие-нибудь мысли, а стену, на которой в старину были сделаны крупные надписи важных исторических дат, — закрасить… Было принято правилом, которое потом и выражено в инструкции, что «*никакие* учебные заведения в Европе не могут для заведений наших служить образцом» — они «уединоображиваются»[57].

[57] Примечания: 57

См. не действующее более «Наставление к образованию воспитанников военно-учебных заведений», 24 декабря 1848 года, СПб., Типография военно-учебных заведений. *(Примеч. авт.)*

Глава семнадцатая

Можно представить, как мы при таком учении выходили учены… А впереди стояла целая жизнь. Добрый и просвещенный человек, каким, несомненно, был наш доктор Зеленский, не мог не чувствовать, как это ужасно, и не мог не позаботиться если не пополнить ужасающий пробел в наших сведениях (потому что это было невозможно), то по крайней мере хоть возбудить в нас какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь направление нашим мыслям.

Правда, что это не составляет предмета заботливости врача казенного заведения, но он же был человек, он *любил* нас, он желал нам счастия и добра, а какое же счастие при круглом невежестве? Мы годились к чему-нибудь в корпусе, но выходили в жизнь в полном смысле ребятами, правда, с задатками чести и хороших правил, но совершенно ничего не понимая. Первый случай, первый хитрец при новой обстановке мог нас сбивать и вести по пути недоброму, которого мы не сумели бы ни понять, ни оценить. Как к этому быть равнодушным!

И вот Зеленский забирал нас к себе в лазарет и

подшпиговывал нас то чтением, то беседами.

Известно ли об этом было Перскому, я не знаю, но может быть, что и было известно, только он не любил знать о том, о чем не считал нужным знать. Тогда было строго, но формалистики меньше.

Читали мы у Зеленского, опять повторяю, книги самые позволительные, а из бесед я помню только одну, и то потому, что она имела анекдотическое основание и через то особенно прочно засела в голову. Но, говорят, человек ни в чем так легко не намечается, как в своем любимом анекдоте, а потому я его здесь и приведу.

Зеленский говорил, что в жизнь надо внесть с собою как можно более добрых *чувств,* способных порождать добрые *настроения,* из которых в свою очередь непременно должно вытечь доброе же *поведение.* А потому будут целесообразнее и все *поступки* в каждом столкновении и при всех случайностях. Всего предвидеть и распределить, где как поступить, невозможно, а надо все с добрым настроением и рассмотрением и без упрямства: приложить одно, а если не действует и раздражает, обратиться благоразумно к другому. Он все это из медицины брал и к ней приравнивал и говорил, что у него, в молодой поре, был упрямый главный доктор.

Подходит, говорит, к больному и спрашивает:

— Что у него?

— Так и так, — отвечает Зеленский, — весь аппарат бездействует, что-то вроде miserere[58].

— Oleum ricini[59] давали?

— Давали.

И еще там что-то спросил: давали?

— Давали.

— А oleum crotoni?[60]

— Давали.

— Сколько?

— Две капли.

— Дать двадцать!

Зеленский только было рот раскрыл, чтобы возразить, а тот остановил:

— Дать двадцать!

— Слушаю-с.

На другой день спрашивает:

— А что больной с miserere: дали ему двадцать капель?

---

[58] Примечания: 58

Жалеть, иметь сострадание *(лат.);* здесь: безнадежное состояние больного.

[59] Примечания: 59

Касторовое масло *(лат.).*

[60] Примечания: 60

Кротоновое масло* *(лат.).*

— Дали.
— Ну и что он?
— Умер.
— Однако проняло?
— Да, проняло.
— То-то и есть.

И, довольный, что по его сделано, старший доктор начинал преспокойно бумаги подписывать. А что больной умер, до этого дела нет: лишь бы *проняло.*

Поскольку к чему этот медицинский анекдот мог быть приложим, он нам нравился и казался понятен, а уж насколько он кого-нибудь из нас воздерживал от вредного упрямства в выборе сильных, но вредно действующих средств, этого не знаю.

Зеленский служил в корпусе тридцать лет и оставил после себя всего богатства пятьдесят рублей.

Таковы были эти три коренные старца нашего кадетского скита; но надо помянуть еще четвертого, пришлого в наш монастырь с своим уставом, но также попавшего нашему духу под стать и оставившего по себе превосходную память.

Глава восемнадцатая

Тогда был такой обычай, что для преподавания религиозных предметов кадетам высших классов в корпус присылался архимандрит из назначавшихся к архиерейству. Разумеется, это большею частию были люди очень умные и хорошие, но особенно дорог и памятен нам остался *последний,* который был у нас на этом назначении, и с ним оно кончилось. Решительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали их просто «отец архимандрит»*, а справиться о его имени теперь трудно. Пусть этот будет так, без имени. Он был сердового возраста*, небольшого роста, сухощав и брюнет, энергический, живой, с звучным голосом и весьма приятными манерами, любил цветы и занимался для удовольствия астрономией. Из окна его комнаты, выходившей в сад, торчала медная труба телескопа, в который он вечерами наблюдал звездное небо. Он был очень уважаем Перским и всем офицерством, а кадетами был любим удивительно. Мне теперь думается, да и прежде в жизни, когда приходилось слышать легкомысленный отзыв о религии, что она будто скучна и бесполезна, — я всегда думал: «Вздор

мелете, милашки, это вы говорите только оттого, что на мастера не попали, который бы вас заинтересовал и раскрыл вам эту поэзию вечной правды и неумирающей жизни». А сам сейчас думаю о том последнем архимандрите нашего корпуса, который навеки меня облагодетельствовал, образовав мое религиозное чувство. Да и для многих он был таким благодетелем. Он учил в классе и проповедовал в церкви, но мы никогда не могли его вволю наслушаться, и он это видел; всякий день, когда нас выпускали в сад, он тоже приходил туда, чтобы с нами разговаривать. Все игры и смехи тотчас прекращались, и он ходил, окруженный целою толпою кадет, которые так теснились вокруг него со всех сторон, что ему очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили. Право, мне это напоминает что-то древнее апостольское. Мы перед ним все были открыты; выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключавшиеся в докучных преследованиях Демидова и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать.

Архимандрит нас выслушивал терпеливо и утешал, что для чтения впереди будет еще много времени в жизни, но так же, как Зеленский, он всегда внушал нам, что наше корпусное обра-

зование очень недостаточно и что мы должны это помнить и по выходе стараться приобретать познания. О Демидове он от себя ничего не говорил, но мы по едва заметному движению его губ замечали, что он его презирает. Это потом скоро и высказалось в одном оригинальном и очень памятном событии.

Глава девятнадцатая

Я выше сказал, что Демидов был большой ханжа, он постоянно крестился, ставил свечи и прикладывался ко всем иконам, но в религии был суевер и невежда. Он считал за преступление рассуждать о религии, может быть, потому, что не мог рассуждать о ней. Нам он ужасно надоедал, кстати и некстати приставая: «Молитесь, деточки, молитесь, вы ангелы, ваши молитвы Бог слышит». Точно ему сообщено, чьи молитвы доходят до Бога и чьи не доходят. А потом этих же «ангелов» растягивали и драли как Сидоровых коз. Сам же себя он, как большинство ханжей, считал полным, совершенным христианином и ревнителем веры. Архимандрит же был христианин в другом роде, и притом, как я сказал, он был умен и образован. Проповеди его были неподготовленные, очень простые, теплые, всегда направленные к подъему наших чувств в христианском духе, и он произносил их прекрасным звучным голосом, который долетал во все углы церкви. Уроки же, или лекции, его отличались необыкновенною простотою и тем, что мы могли его обо всем спрашивать и прямо, ничего

не боясь, высказывать ему все наши сомнения и беседовать. Эти уроки были наш бенефис — наш праздник. Как образец, приведу одну лекцию, которую очень хорошо помню.

— Подумаем, — так говорил архимандрит, — не лучше ли было бы, если бы для устранения всякого недоумения и сомнения, которые длятся так много лет, Иисус Христос пришел не скромно в образе человеческом, а сошел бы с неба в торжественном величии, как божество, окруженное сонмом светлых служебных духов. Тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это действительно божество, в чем теперь очень многие сомневаются. Как вы об этом думаете?

Кадеты, разумеется, молчали. Что тут кто-нибудь из нас мог бы сказать, да мы бы на такого говоруна и рассердились, чтобы не лез не в свое дело. Мы ждали *его* разъяснения, и ждали страстно, жадно и затаив дыхание. А он прошелся перед нами и, остановясь, продолжал так:

— Когда я, сытый, что по моему лицу видно, и одетый в шелк, говорю в церкви проповедь и объясняю, что нужно терпеливо сносить холод и голод, то я в это время читаю на лицах слушателей: «Хорошо тебе, монах, рассуждать, когда ты в шелку да сыт. А посмотрели бы мы, как бы

ты заговорил о терпении, если бы тебе от голода живот к спине подвело, а от стужи все тело посинело». И я думаю, что, если бы Господь наш пришел в славе, то и ему отвечали бы что-нибудь в этом роде. Сказали бы, пожалуй: «Там Тебе на небе отлично, пришел к нам на время и учишь. Нет, вот если бы Ты промеж нас родился да от колыбели до гроба претерпел, что нам терпеть здесь приходится, тогда бы другое дело». И это очень важно и основательно, и для этого Он и сошел босой и пробрел по земле без приюта.

Демидов, я говорю, ничего не понимал, но чувствовал, что это человек не в его духе, чувствовал, что это заправский, настоящий христианин, а такие ханжам хуже и противнее самого крайнего невера. Но поделать он с ним ничего не мог, потому что не смел открыто порицать доброе боговедание и рассуждение архимандрита, пока этот не дал на себя иного оружия. Архимандрит вышел из терпения, и опять не за себя, а за нас, потому что Демидов с своим пустосвятством разрушал его работу, портив наше религиозное настроение и доводив нас до шалостей, в которых обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношение к священным предметам.

Глава двадцатая

Демидов был чрезвычайно суеверен: у него были счастливые и несчастные дни; он боялся трех свечей, креста, встречи с духовными и имел многие другие глупые предрассудки. Мы со свойственною детям наблюдательностию очень скоро подметили эти странности главного директора и обратили их в свою пользу. Мы отлично знали, что Демидов ни за что не приедет ни в понедельник, ни в пятницу, ни в другой тяжелый день или тринадцатого числа; но главнее всего нас выручали кресты… Один раз, заметив, что Демидов, где ни завидит крест, сейчас крестится и обходит, мы начали ему всюду подготовлять эти сюрпризы; в те дни, когда можно было ожидать, что он приедет в корпус, у нас уже были приготовлены кресты из палочек, из цветных шерстинок или даже из соломинок. Они делались разной величины и разного фасона, но особенно хорошо действовали кресты вроде надмогильных — с покрышечками. Их особенно боялся Демидов, вероятно имевший какую-нибудь скрытую надежду на бессмертие. Кресты эти мы разбрасывали на полу, а всего больше помещали их

под карнизы лестничных ступеней. Как, бывало, начальство за этим ни смотрит, чтобы этого не было, а уже мы ухитримся — крестик подбросим. Бывало, все идут, и никто не заметит, а Демидов непременно увидит и сейчас же отпрыгнет, закрестится, закрестится и вернется назад. Ни за что решительно он не мог наступить на ступеньку, на которой был брошен крестик. То же самое было, если крестик оказывался на полу посреди проходной комнаты, чрез которую лежал его путь. Он сейчас отскочит, закрестится и уйдет, и нам в этот раз полегчает, но потом начнется дознание и окончится или карцером для многих, или даже наказанием на теле для некоторых.

Архимандрита это возмущало, и хотя он нам ничего не говорил на Демидова, но один раз, когда подобная шалость окончилась обширной разделкой на теле многих, он побледнел и сказал:

— Я запрещаю вам это делать, и кто меня хоть немножко любит, тот послушается.

И мы дали слово не метать больше крестиков, и не метали, а рядом с тем, в следующее же воскресенье, архимандрит по окончании обедни сказал в присутствии Демидова проповедь «о предрассудках и пустосвятстве», где только не называл Демидова по имени, а перечислял все его ханже-

ские глупости и даже упомянул о крестиках.

Демидов стоял полотна белее, весь трясся и вышел, не подойдя к кресту, но архимандрит на это не обратил никакого внимания. Надо было, чтобы у них сочинялся особенный духовно-военный турнир, в котором я не знаю кому приписать победу.

Глава двадцать первая

Через неделю, в воскресенье, следовавшее за знаменитою проповедью «о предрассудках», Демидов не сманкировал, а приехал в церковь, но, опоздав, вошел в половине обедни. Он до конца отстоял службу и проповедь, которая на этот раз касалась вещей обыкновенных и ничего острого в себе для него не заключала; но тут он выкинул удивительную штуку, на которую архимандрит ответил еще более удивительною.

Когда архимандрит, возгласив «благословение Господне на вас», закрыл Царские двери, Демидов вдруг тут же в церкви гласно с нами поздоровался.

Мы, разумеется, как привыкли отвечать, громко отвечали ему:

— Здравия желаем, ваше высокопревосходительство! — и хотели уже поворачиваться и выходить, как вдруг завеса, гремя колечками по рубчатой проволоке, неожиданно распахнулась, и в открытых Царских дверях появился еще не успевший разоблачиться архимандрит.

— Дети! Я *вам* говорю, — воскликнул он скоро, но спокойно, — в храме Божием уместны только

одни возгласы — возгласы в честь и славу живого Бога, и никакие другие. Здесь я имею право и долг запрещать и приказывать, и я вам *запрещаю* делать возгласы начальству. Аминь.

Он повернулся и закрыл двери. Демидов поскакал жаловаться, и архимандрит от нас выехал, а с тем вместе было сделано распоряжение, чтобы архимандритов впредь в корпуса вовсе не назначали. Это был последний.

Глава двадцать вторая

Я кончил, больше мне сказать об этих людях нечего, да, кажется, ничего и не нужно. Их время прошло, нынче действуют другие люди, и ко всему другие требования, особенно к воспитанию, которое уже не «уединоображивается». Может быть, те, про которых я рассказал, теперь были бы недостаточно учены или, как говорят, «непедагогичны» и не могли бы быть допущены к делу воспитания, но позабыть их не следует. То время, когда все жалось и тряслось, мы, целые тысячи русских детей, как рыбки резвились в воде, по которой маслом плыла их защищавшая нас от всех бурь елейность. Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, *сильнее других делают историю.* И если их «педагогичность» даже не выдержит критики, то все-таки их память почтенна, и души их во благих водворятся.

Прибавление к рассказу о кадетском монастыре

В долголетнюю бытность покойного Андрея Петровича экономом Первого кадетского корпуса там состоял старшим поваром некий Кулаков.

Повар этот умер скоропостижно на своем поварском посту — у плиты, и смерть его была очень заметным событием в корпусе. Кулаков честный человек — не вор, и потому честный эконом Бобров уважал Кулакова при жизни и скорбел о его трагической кончине. После того как Кулаков умер, «стоя у плиты», на смену ему долго не было мужа с такою же нравственною доблестию. Со смертью Кулакова, при всей строгости досмотра со стороны бригадира Боброва, «просел кисель» и «тертый картофель потерял свою густоту». Особенно повредился картофель, составлявший важный элемент при кадетском столе. После Кулакова картофель не полз меланхолически, сходя с ложки на тарелки кадет, но лился и «лопотал». Бобров видел это и огорчался, даже, случалось, дрался с поварами, но никак не мог добиться секрета стирать картофель так, что-

бы он был «как масло». Секрет этот, быть может, навсегда утрачен вместе с Кулаковым, и потому понятно, что Кулакова в корпусе сильно вспоминали, и вспоминали добром. Находившийся тогда в числе кадет Кондратий Федорович Рылеев (f 14 июля 1826 года), видя скорбь Боброва и ценя утрату Кулакова для всего заведения, написал по этому случаю комическую поэму в двух песнях, под заглавием «Кулакиада».

Поэма, исчислив заслуги и доблести Кулакова, описывает его смерть у плиты и его погребение, а затем она оканчивалась следующим воззванием к Андрею Петровичу Боброву:

Я знаю то, что не достоин
Вещать о всех делал твоих:
Я не поэт, я просто воин, —
В моих устах нескладен стих,
Но ты, о мудрый, знаменитый
Царь кухни, мрачных погребов,
Топленым жиром весь облитый,
Единственный герой Бобров!

Не осердися на поэта,
Тебя который воспевал,

И знай – у каждого кадета
Ты тем навек бессмертен стал.
Прочтя стихи сии, потомки,
Бобров, воспомнут о тебе[61],
Твои дела воспомнут громки
И вспомнят, может быть, о мне.

Таков и есть Бобров на его единственном карандашевом портрете, «царь кухни, мрачных погребов», «топленым жиром весь облитый, единственный герой Бобров».

И еще один анекдот.

Бобров ежедневно являлся к директору корпуса Михаилу Степановичу Перскому рапортовать «о благополучии». Рапорты эти, разумеется чисто формальные, писались всегда на листе обыкновенной бумаги и затем складывались вчетверо и клались Боброву за кокарду треуголки. Бригадир брал шляпу и шел к Перскому, но так как в корпусе всем было до Боброва дело, то он по дороге часто останавливался для каких-нибудь распоряжений, а имея слабость горячиться и пылить, Бобров часто бросал свою шляпу или забывал ее, а потом снова ее брал и шел далее.

---

[61] Примечания: 61
Вариант: Воспомнут, мудрый, о тебе. (*Примеч. авт.)*

Зная такую привычку Боброва, кадеты подшутили над своим «дедушкой» шутку: они переписали «Кулакиаду» на такой самый лист бумаги, на каком у Андрея Петровича писались рапорты по начальству, и, сложив лист тем же форматом, как складывал Бобров свои рапорты, кадеты всунули рылеевское стихотворение в треуголку Боброва, а рапорт о «благополучии» вынули и спрятали.

Бобров не заметил подмена и явился к Перскому, который Андрея Петровича очень уважал, но все-таки был ему начальник и держал свой тон.

Михаил Степанович развернул лист и, увидав стихотворение вместо рапорта, рассмеялся и спросил:

— Что это, Андрей Петрович, — с каких пор вы сделались поэтом?

Бобров не мог понять, в чем дело, но только видел, что что-то неладно.

— Как, что изволите… какой поэт? — спросил он вместо ответа у Перского.

— Да как же: кто пишет стихи, ведь тех называют поэтами. Ну так и вы поэт, если стали сочинять стихи.

Андрей Петрович совсем сбился с толку.

— Что такое… стихи…

Но он взглянул в бумагу, которую подал в сложенном виде, и увидал в ней действительно какие-то беззаконно неровные строчки.

— Что же это такое?!

— Не знаю, — отвечал Перский и стал вслух читать Андрею Петровичу его рапорт.

Бобров чрезвычайно сконфузился и взволновался до слез, так что Перский, окончив чтение, должен был его успокаивать.

После этого был найден автор стихотворения — это был кадет Рылеев, на которого добрейший Бобров тут же сгоряча излил все свое негодование, поскольку он был способен к гневу. А Бобров при всем своем бесконечном незлобии был вспыльчив, и «попасть в стихи» ему показалось за ужасную обиду. Он не столько сердился на Рылеева, как вопиял:

— Нет, за что?! Я только желаю знать — за что ты меня, разбойник, осрамил?!

Рылеев был тронут непредвидимою им горестью всеми любимого старика и просил у Боброва прощения с глубоким раскаянием. Андрей Петрович плакал и всхлипывал, вздрагивая всем своим тучным телом. Он был слезлив, или, по-кадетски говоря, был «плакса» и «слезомойка». Чуть бы что ни случилось в немножко торжественном или в

немножко печальном роде, бригадир сейчас же готов был расплакаться.

Корпусные солдаты говорили о нем, что у него «глаза на мокром месте вставлены».

Но как ни была ужасна вся история с «Кулакиадою», Бобров, конечно, все-таки помирился с совершившимся фактом и простил его, но сказал при том Рылееву назидательную речь, что литература вещь дрянная и что занятия ею никого не приводят к счастию.

Собственно же для Рылеева, говорят, будто старик высказал это в такой форме, что она имела соотношение с последнею судьбою покойного поэта, которого добрый Бобров ласкал и особенно любил, как умного и бойкого кадета.

«Последний архимандрит», который не ладил с генералом Муравьевым и однажды заставил его замолчать, был архимандрит Ириней, впоследствии епископ, архиерействовавший в Сибири и перессорившийся там с гражданскими властями, а потом скончавшийся в помрачении рассудка.



Привидение в инженерном замке
Из кадетских воспоминаний

Глава первая



У домов, как у людей, есть своя репутация. Есть дома, где, по общему мнению, *нечисто,* то есть где замечают те или другие проявления какой-то нечистой или по крайней мере непонятной силы. Спириты* старались много сделать для разъяснения этого рода явлений, но так как теории их не пользуются большим доверием, то дело с страш-

ными домами остается в прежнем положении.

В Петербурге, во мнении многих, подобною худою славою долго пользовалось характерное здание бывшего Павловского дворца, известное нынче под названием Инженерного замка*. Таинственные явления, приписываемые духам и привидениям, замечали здесь почти с самого основания замка. Еще при жизни императора Павла тут, говорят, слышали голос Петра Великого, и, наконец, даже сам император Павел видел тень своего прадеда. Последнее, без всяких опровержений, записано в заграничных сборниках, где нашли себе место описания внезапной кончины Павла Петровича, и в новейшей русской книге г. Кобеко*. Прадед будто бы покидал могилу, чтобы предупредить своего правнука, что дни его малы и конец их близок. Предсказание сбылось.

Впрочем, тень Петрова была видима в стенах замка не одним императором Павлом, но и людьми, к нему приближенными. Словом, дом был страшен потому, что там жили или по крайней мере являлись тени и привидения и говорили что-то такое страшное, и вдобавок еще сбывающееся. Неожиданная внезапность кончины императора Павла, по случаю которой в обществе тотчас вспомнили и заговорили о предвещатель-

ных тенях, встречавших покойного императора в замке, еще более увеличили мрачную и таинственную репутацию этого угрюмого дома. С тех пор дом утратил свое прежнее значение жилого дворца, а по народному выражению — «пошел под кадет».

Нынче в этом упраздненном дворце помещаются юнкера инженерного ведомства, но начали его «обживать» прежние инженерные кадеты*. Это был народ еще более молодой и совсем еще не освободившийся от детского суеверия, и притом резвый и шаловливый, любопытный и отважный. Всем им, разумеется, более или менее были известны страхи, которые рассказывали про их страшный замок. Дети очень интересовались подробностями страшных рассказов и напитывались этими страхами, а те, которые успели с ними достаточно освоиться, очень любили пугать других. Это было в большом ходу между инженерными кадетами, и начальство никак не могло вывести этого дурного обычая, пока не произошел случай, который сразу отбил у всех охоту к пуганьям и шалостям.

Об этом случае и будет наступающий рассказ.

Глава вторая

Особенно было в моде пугать новичков, или так называемых «малышей», которые, попадая в замок, вдруг узнавали такую массу страхов о замке, что становились суеверными и робкими до крайности. Более всего их пугало, что в одном конце коридоров замка есть комната, служившая спальней покойному императору Павлу, в которой он лег почивать здоровым, а утром его оттуда вынесли мертвым. «Старики» уверяли, что дух императора живет в этой комнате и каждую ночь выходит оттуда и осматривает свой любимый замок, — а «малыши» этому верили. Комната эта была всегда крепко заперта, и притом не одним, а несколькими замками, но для духа, как известно, никакие замки и затворы не имеют значения. Да и, кроме того, говорили, будто в эту комнату можно было как-то проникать. Кажется, это так и было на самом деле. По крайней мере, жило и до сих пор живет предание, будто это удавалось нескольким «старым кадетам» и продолжалось до тех пор, пока один из них не задумал отчаянную шалость, за которую ему пришлось жестоко поплатиться. Он открыл какой-то неизвестный

лаз в страшную спальню покойного императора, успел пронести туда простыню и там ее спрятал, а по вечерам забирался сюда, покрывался с ног до головы этой простынею и становился в темном окне, которое выходило на Садовую улицу и было хорошо видно всякому, кто, проходя или проезжая, поглядит в эту сторону.

Исполняя таким образом роль привидения, кадет действительно успел навести страх на многих суеверных людей, живших в замке, и на прохожих, которым случалось видеть его белую фигуру, всеми принимавшуюся за тень покойного императора.

Шалость эта продолжалась несколько месяцев и распространила упорный слух, что Павел Петрович по ночам ходит вокруг своей спальни и смотрит из окна на Петербург. Многим до несомненности живо и ясно представлялось, что стоявшая в окне белая тень им не раз кивала головой и кланялась; кадет действительно проделывал такие штуки. Все это вызывало в замке обширные разговоры с предвозвещательными истолкованиями и закончилось тем, что наделавший описанную тревогу кадет был пойман на месте преступления и, получив «примерное наказание на теле», исчез навсегда из заведе-

ния. Ходил слух, будто злополучный кадет имел несчастие испугать своим появлением в окне одно случайно проезжавшее мимо замка высокое лицо, за что и был наказан не по-детски. Проще сказать, кадеты говорили, будто несчастный шалун «умер под розгами», и так как в тогдашнее время подобные вещи не представлялись невероятными, то и этому слуху поверили, а с этих пор сам этот кадет стал новым привидением. Товарищи начали его видеть «всего иссеченного» и с гробовым венчиком на лбу, а на венчике будто можно было читать надпись: «Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю»*.

Если вспомнить библейский рассказ, в котором эти слова находят себе место*, то оно выходит очень трогательно.

Вскоре за погибелью кадета спальная комната, из которой исходили главнейшие страхи Инженерного замка, была открыта и получила такое приспособление, которое изменило ее жуткий характер, но предания о привидении долго еще жили, несмотря на последовавшее разоблачение тайны. Кадеты продолжали верить, что в их замке живет, а иногда ночами является призрак. Это было общее убеждение, которое равномерно держалось у кадет младших и старших, с тою,

впрочем, разницею, что младшие просто слепо верили в привидение, а старшие иногда сами устраивали его появление. Одно другому, однако, не мешало, и сами подделыватели привидения его тоже побаивались. Так иные «ложные сказатели чудес» сами их воспроизводят и сами им поклоняются и даже верят в их действительность.

Кадеты младшего возраста не знали «всей истории», разговор о которой, после происшествия с получившим жестокое наказание на теле, строго преследовался, но они верили, что старшим кадетам, между которыми находились еще товарищи высеченного или засеченного, была известна вся тайна призрака. Это давало старшим большой престиж, и те им пользовались до 1859 или 1860 года, когда четверо из них сами подверглись очень страшному перепугу, о котором я расскажу со слов одного из участников неуместной шутки у гроба.

Глава третья

В том 1859 или 1860 году умер в Инженерном замке начальник этого заведения, генерал Ламновский*. Он едва ли был любимым начальником у кадет и, как говорят, будто бы не пользовался лучшею репутациею у начальства. Причин к этому у них насчитывали много: находили, что генерал держал себя с детьми будто бы очень сурово и безучастливо, мало вникал в их нужды, не заботился об их содержании, а главное, был докучлив, придирчив и мелочно суров. В корпусе же говорили, что сам по себе генерал был бы еще более зол, но что неодолимую его лютость укрощала тихая, как ангел, генеральша, которой ни один из кадет никогда не видал, потому что она была постоянно больна, но считали ее добрым гением, охраняющим всех от конечной лютости генерала.

Кроме такой славы по сердцу генерал Ламновский имел очень неприятные манеры. В числе последних были и смешные, к которым дети придирались, и когда хотели «представить» нелюбимого начальника, то обыкновенно выдвигали одну из его смешных привычек на вид

до карикатурного преувеличения.

Самою смешною привычкою Ламновского было то, что, произнося какую-нибудь речь или делая внушение, он всегда гладил всеми пятью пальцами правой руки свой нос. Это, по кадетским определениям, выходило так, как будто он «доил слова из носа». Покойник не отличался красноречием, и у него, что называется, часто недоставало слов на выражение начальственных внушений детям, а потому при всякой такой запинке «доение» носа усиливалось, а кадеты тотчас же теряли серьезность и начинали пересмеиваться. Замечая это нарушение субординации, генерал начинал еще более сердиться и наказывал их. Таким образом, отношения между генералом и воспитанниками становились все хуже и хуже, а во всем этом, по мнению кадет, всего более был виноват «нос».

Не любя Ламновского, кадеты не упускали случая делать ему досаждения и мстить, портя так или иначе его репутацию в глазах своих новых товарищей. С этою целью они распускали в корпусе молву, что Ламновский знается с нечистою силою и заставляет демонов таскать для него мрамор, который Ламновский поставлял для какого-то здания, кажется для Исаакиевского

собора. Но так как демонам эта работа надоела, то рассказывали, будто они нетерпеливо ждут кончины генерала, как события, которое возвратит им свободу. А чтобы это казалось еще достовернее, раз вечером, в день именин генерала, кадеты сделали ему большую неприятность, устроив «похороны». Устроено же это было так, что когда у Ламновского, в его квартире, пировали гости, то в коридорах кадетского помещения появилась печальная процессия: покрытые простынями кадеты, со свечами в руках, несли на одре чучело с длинноносой маской и тихо пели погребальные песни. Устроители этой церемонии были открыты и наказаны, но в следующие именины Ламновского непростительная шутка с похоронами опять повторилась. Так шло до 1859 года или 1860 года, когда генерал Ламновский в самом деле умер и когда пришлось справлять настоящие его похороны. По обычаям, которые тогда существовали, кадетам надо было посменно дежурить у гроба, и вот тут-то и произошла страшная история, испугавшая тех самых героев, которые долго пугали других.

Глава четвертая

Генерал Ламновский умер позднею осенью, в ноябре месяце, когда Петербург имеет самый человеконенавистный вид: холод, пронизывающая сырость и грязь; особенно мутное туманное освещение тяжело действует на нервы, а через них на мозг и фантазию. Все это производит болезненное душевное беспокойство и волнение. Молешотт* для своих научных выводов о влиянии света на жизнь мог бы получить у нас в это время самые любопытные данные.

Дни, когда умер Ламновский, были особенно гадки. Покойника не вносили в церковь замка, потому что он был лютеранин, — тело стояло в большой траурной зале генеральской квартиры, и здесь было учреждено кадетское дежурство, а в церкви служились, по православному установлению, панихиды. Одну панихиду служили днем, а другую вечером. Все чины замка, равно как кадеты и служители, должны были появляться на каждой панихиде, и это соблюдалось в точности. Следовательно, когда в православной церкви шли панихиды, все население замка собиралось в эту церковь, а остальные обширные помещения

и длиннейшие переходы совершенно пустели. В самой квартире усопшего не оставалось никого, кроме дежурной смены, состоявшей из четырех кадет, которые с ружьями и с касками на локте стояли вокруг гроба.

Тут и пошла заматываться какая-то беспокойная жуть: все начали чувствовать что-то беспокойное и стали чего-то побаиваться; а потом вдруг где-то проговорили, что опять кто-то «встает» и опять кто-то «ходит». Стало так неприятно, что все начали останавливать других, говоря: «Полно, довольно, оставьте это; ну вас к черту с такими рассказами! Вы только себе и людям нервы портите!» А потом и сами говорили то же самое, от чего унимали других, и к ночи уже становилось всем страшно. Особенно это обострилось, когда кадет пошунял «батя», то есть какой тогда был здесь священник.

Он постыдил их за радость по случаю кончины генерала и как-то коротко, но хорошо умел их грянуть и насторожить их чувства.

– *«Ходит»,* — сказал он им, повторяя их же слова. — И разумеется, что ходит некто такой, кого вы не видите и видеть не можете, а в нем и есть сила, с которою не сладишь. Это *серый человек,* — он не в полночь встает, а в сумерки, когда серо

делается, и каждому хочет сказать о том, что в мыслях есть нехорошего. Этот серый человек — *совесть;* советую вам не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет, — смотрите, чтобы серый человек им не скинулся да не дал бы вам тяжелого урока!

Кадеты это как-то взяли глубоко к сердцу, и чуть только начало в тот день смеркаться, они так и оглядываются: нет ли серого человека и в каком он виде? Известно, что в сумерках в душах обнаруживается какая-то особенная чувствительность — возникает новый мир, затмевающий тот, который был при свете: хорошо знакомые предметы обычных форм становятся чем-то прихотливым, непонятным и, наконец, даже страшным. Этой порою всякое чувство почему-то как будто ищет для себя какого-то неопределенного, но усиленного выражения: настроение чувств и мыслей постоянно колеблется, и в этой стремительной и густой дисгармонии всего внутреннего мира человека начинает свою работу фантазия: мир обращается в сон, а сон — в мир… Это заманчиво и страшно, и чем более страшно, тем более заманчиво и завлекательно…

В таком состоянии было большинство кадет,

особенно перед ночными дежурствами у гроба. В последний вечер перед днем погребения к панихиде в церковь ожидалось посещение самих важных лиц, а потому кроме людей, живших в замке, был большой съезд из города. Даже из самой квартиры Ламновского все ушли в русскую церковь, чтобы видеть собрание высоких особ; покойник оставался окруженный одним детским караулом. В карауле на этот раз стояли четыре кадета: Г — тон, В — нов, З—ский и К– дин, все до сих пор благополучно здравствующие и занимающие теперь солидные положения по службе и в обществе.

Глава пятая

Из четырех молодцов, составлявших караул, один, именно К — дин, был самый отчаянный шалун, который докучал покойному Ламновскому более всех и потому, в свою очередь, чаще прочих подвергался со стороны умершего усиленным взысканиям. Покойник особенно не любил К — дина за то, что этот шалун умел его прекрасно передразнивать «по части доения носа» и принимал самое деятельное участие в устройстве погребальных процессий, которые делались в генеральские именины.

Когда такая процессия была совершена в последнее тезоименитство Ламновского, К — дин сам изображал покойника и даже произносил речь из гроба, с такими ужимками и таким голосом, что пересмешил всех, не исключая офицера, посланного разогнать кощунствующую процессию.

Было известно, что это происшествие привело покойного Ламновского в крайнюю гневность, и между кадетами прошел слух, будто рассерженный генерал «поклялся наказать К — дина на всю жизнь». Кадеты этому верили и, принимая в со-

ображение известные им черты характера своего начальника, нимало не сомневались, что он свою клятву над К — диным исполнит. К — дин в течение всего последнего года считался «висящим на волоске», а так как, по живости характера, этому кадету было очень трудно воздерживаться от резвых и рискованных шалостей, то положение его представлялось очень опасным, и в заведении того только и ожидали, что вот-вот К — дин в чем-нибудь попадется, и тогда Ламновский с ним не поцеремонится и все его дроби приведет к одному знаменателю — «даст себя помнить на всю жизнь».

Страх начальственной угрозы так сильно чувствовался К — диным, что он делал над собою отчаянные усилия, и, как запойный пьяница от вина, он бежал от всяких проказ, покуда ему пришел случай проверить на себе поговорку, что «мужик год не пьет, а как черт прорвет, так он все пропьет».

Черт прорвал К — дина именно у гроба генерала, который опочил, не приведя в исполнение своей угрозы. Теперь генерал был кадету не страшен, и долго сдержанная резвость мальчика нашла случай отпрянуть, как долго скрученная пружина. Он просто обезумел.

Глава шестая

Последняя панихида, собравшая всех жителей замка в православную церковь, была назначена в восемь часов, но так как к ней ожидались высшие лица, после которых неделикатно было входить в церковь, то все отправились туда гораздо ранее. В зале у покойника осталась одна кадетская смена: Г — тон, В — нов, З—ский и К — дин*. Ни в одной из прилегавших огромных комнат не было ни души…

В половине восьмого дверь на мгновение приотворилась, и в ней на минуту показался плац-адъютант, с которым в эту же минуту случилось пустое происшествие, усилившее жуткое настроение: офицер, подходя к двери, или испугался своих собственных шагов, или ему казалось, что его кто-то обгоняет, — он сначала приостановился, чтобы дать дорогу, а потом вдруг воскликнул: «Кто это?! Кто?!» — и, торопливо просунув голову в дверь, другою половинкою этой же двери придавил самого себя и снова вскрикнул, как будто его кто-то схватил сзади.

Разумеется, вслед же за этим он оправился и, торопливо окинув беспокойным взглядом тра-

урный зал, догадался по здешнему безлюдию, что все ушли уже в церковь; тогда он опять притворил двери и, сильно звеня саблею, бросился ускоренным шагом по коридорам, ведущим к замковому храму.

Стоявшие у гроба кадеты ясно замечали, что и большие чего-то пугались, а страх на всех действует заразительно.

Глава седьмая

Дежурные кадеты проводили слухом шаги удалявшегося офицера и замечали, как за каждым шагом их положение здесь становилось сиротливее, точно их привели сюда и замуровали с мертвецом за какое-то оскорбление, которого мертвый не позабыл и не простил, а, напротив, встанет и непременно отмстит за него. И отмстит страшно, по-мертвецки… К этому нужен только свой час — удобный час полночи,

…когда поет петух
И нежить мечется в потемках…

Но они же не достоят здесь до полуночи, — их сменят, да и притом им ведь страшна не «нежить», а серый человек, которого пора — в сумерках.

Теперь и были самые густые сумерки, мертвец в гробу, и вокруг самое жуткое безмолвие… На дворе с свирепым неистовством выл ветер, обдавая огромные окна целыми потоками мутного осеннего ливня, и гремел листами кровельных загибов; печные трубы гудели с перерывами, точно они вздыхали или как будто в них что-то

врывалось, задерживалось и снова еще сильнее напирало. Все это не располагало ни к трезвости чувств, ни к спокойствию рассудка. Тяжесть всего этого впечатления еще более усиливалась для ребят, которые должны были стоять, храня мертвое молчание; все как-то путается; кровь, приливая к голове, ударялась им в виски, и слышалось что-то вроде однообразной мельничной стукотни. Кто переживал подобные ощущения, тот знает эту странную и совершенно особенную стукотню крови — точно мельница мелет, но мелет не зерно, а перемалывает самоё себя. Это скоро приводит человека в тягостное и раздражающее состояние, похожее на то, которое непривычные люди ощущают, опускаясь в темную шахту к рудокопам, где обычный для нас дневной свет вдруг заменяется дымящейся плошкой. Выдерживать молчание становится невозможно, — хочется слышать хоть свой собственный голос, хочется куда-то сунуться — что-то сделать самое безрассудное.

Глава восьмая

Один из четырех стоявших у гроба генерала кадет, именно К — дин, переживая все эти ощущения, забыл дисциплину и, стоя под ружьем, прошептал:

— Духи лезут к нам за папкиным носом.

Ламновского в шутку называли иногда «папкою», но шутка на этот раз не смешила товарищей, а, напротив, увеличила жуть, и двое из дежурных, заметив это, отвечали К — дину:

— Молчи… и без того страшно, — и все тревожно воззрились в укутанное кисеею лицо покойника.

— Я оттого и говорю, что вам страшно, — отвечал К — дин, — а мне, напротив, не страшно, потому что мне он теперь уже ничего не сделает. Да, надо быть выше предрассудков и пустяков не бояться, а всякий мертвец — это уже настоящий пустяк, и я это вам сейчас докажу.

— Пожалуйста, ничего не доказывай.

— Нет, докажу. Я вам докажу, что папка теперь ничего не может мне сделать, даже в том случае, если я его сейчас, сию минуту, возьму за нос.

И с этим, неожиданно для всех остальных, К —

дин в ту же минуту, перехватив ружье на локоть, быстро взбежал по ступеням катафалка и, взяв мертвеца за нос, громко и весело вскрикнул:

— Ага, папка, ты умер, а я жив и трясу тебя за нос, и ты мне ничего не сделаешь!

Товарищи оторопели от этой шалости и не успели проронить слова, как вдруг всем им враз ясно и внятно послышался глубокий болезненный вздох — вздох, очень похожий на то, как бы кто сел на надутую воздухом резиновую подушку с неплотно завернутым клапаном… И этот вздох, — всем показалось, — по-видимому, шел прямо из гроба…

К — дин быстро отхватил руку и, споткнувшись, с громом полетел с своим ружьем со всех ступеней катафалка, трое же остальных, не отдавая себе отчета, что они делают, в страхе взяли свои ружья наперевес, чтобы защищаться от поднимавшегося мертвеца.

Но этого было мало: покойник не только вздохнул, а действительно гнался за оскорбившим его шалуном или придерживал его за руку: за К — диным ползла целая волна гробовой кисеи, от которой он не мог отбиться, — и, страшно вскрикнув, он упал на пол… Эта ползущая волна кисеи в самом деле представлялась явлением

совершенно необъяснимым и, разумеется, страшным, тем более что закрытый ею мертвец теперь совсем открывался с его сложенными руками на впалой груди.

Шалун лежал, уронив свое ружье, и, закрыв от ужаса лицо руками, издавал ужасные стоны. Очевидно, он был в памяти и ждал, что покойник сейчас за него примется по-свойски.

Между тем вздох повторился, и, вдобавок к нему, послышался тихий шелест. Это был такой звук, который мог произойти как бы от движения одного суконного рукава по другому. Очевидно, покойник раздвигал руки, — и вдруг тихий шум; затем поток иной температуры пробежал струею по свечам, и в то же самое мгновение в шевелившихся портьерах, которыми были закрыты двери внутренних покоев, показалось привидение. Серый человек! Да, испуганным глазам детей предстало вполне ясно сформированное *привидение* в виде человека… Явилась ли это сама душа покойника в новой оболочке, полученной ею в другом мире, из которого она вернулась на мгновение, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или, быть может, это был еще более страшный гость — сам *дух замка*, вышедший сквозь пол соседней комнаты из подземелья!..

Глава девятая

Привидение не было мечтою воображения — оно не исчезало и напоминало своим видом описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им «таинственной женщины»*: как то, так и это представляло «труп, в котором заключена душа». Перед испуганными детьми была в крайней степени изможденная фигура, вся в белом, но в тени она казалась серою. У нее было страшно худое, до синевы бледное и совсем угасшее лицо; на голове всклокоченные в беспорядке густые и длинные волосы. От сильной проседи они тоже казались серыми и, разбегавшись в беспорядке, закрывали грудь и плечи привидения… Глаза виделись яркие, воспаленные и блестевшие болезненным огнем… Сверканье их из темных, глубоко впалых орбит было подобно сверканью горящих углей. У видения были тонкие, худые руки, похожие на руки скелета, и обеими этими руками оно держалось за полы тяжелой дверной драпировки.

Судорожно сжимая материю в слабых пальцах, эти руки и производили тот сухой суконный шелест, который слышали кадеты.

Уста привидения были совершенно черны и от-

крыты, и из них-то после коротких промежутков со свистом и хрипением вырывался тот напряженный полустон-полувздох, который впервые послышался, когда К — дин взял покойника за нос.

Глава десятая

Увидав это грозное привидение, три оставшихся на ногах стража окаменели и замерли в своих оборонительных позициях крепче К — дина, который лежал пластом с прицепленным к нему гробовым покровом.

Привидение не обращало никакого внимания на всю эту группу: его глаза были устремлены на один гроб, в котором теперь лежал совсем раскрытый покойник. Оно тихо покачивалось и, по-видимому, хотело двигаться. Наконец это ему удалось. Держась руками за стену, привидение медленно тронулось и прерывистыми шагами стало переступать ближе ко гробу. Движение это было ужасно. Судорожно вздрагивая при каждом шаге и с мучением ловя раскрытыми устами воздух, оно исторгало из своей пустой груди те ужасные вздохи, которые кадеты приняли за вздохи из гроба. И вот еще шаг и еще шаг, и наконец оно близко, оно подошло к гробу, но, прежде чем подняться на ступени катафалка, оно остановилось, взяло К — дина за ту руку, у которой, отвечая лихорадочной дрожи его тела, трепетал край волновавшейся гробовой кисеи, и

своими тонкими, сухими пальцами отцепило эту кисею от обшлажной пуговицы шалуна; потом посмотрело на него с неизъяснимой грустью, тихо ему погрозило и… перекрестило его…

Затем оно, едва держась на трясущихся ногах, поднялось по ступеням катафалка, ухватилось за край гроба и, обвив своими скелетными руками плечи покойника, зарыдало…

Казалось, в гробу целовались две смерти; но скоро и это кончилось. С другого конца замка донесся слух жизни: панихида кончилась, и из церкви в квартиру мертвеца спешили передовые, которым надо было быть здесь, на случай посещения высоких особ.

Глава одиннадцатая

До слуха кадет долетели приближавшиеся по коридорам гулкие шаги и вырвавшиеся вслед за ними из отворенной церковной двери последние отзвуки заупокойной песни.

Оживительная перемена впечатлений заставила кадет ободриться, а долг привычной дисциплины поставил их в надлежащей позиции на надлежащее место.

Тот адъютант, который был последним лицом, заглянувшим сюда перед панихидою, и теперь торопливо вбежал первый в траурную залу и воскликнул:

— Боже мой, как она сюда пришла!

Труп в белом, с распущенными седыми волосами, лежал, обнимая покойника, и, кажется, сам не дышал уже. Дело пришло к разъяснению.

Напугавшее кадет привидение была вдова покойного генерала, которая сама была при смерти и, однако, имела несчастие пережить своего мужа. По крайней слабости она уже давно не могла оставлять постель, но, когда все ушли к парадной панихиде в церковь, она сползла с своего смертного ложа и, опираясь руками об стены, явилась к

гробу покойника. Сухой шелест, который кадеты приняли за шелест рукавов покойника, были ее прикосновения к стенам. Теперь она была в глубоком обмороке, в котором кадеты, по распоряжению адъютанта, и вынесли ее в кресле за драпировку.

Это был последний страх в Инженерном замке, который, по словам рассказчика, оставил в них навсегда глубокое впечатление.

— С этого случая, — говорил он, — всем нам стало возмутительно слышать, если кто-нибудь радовался чьей бы то ни было смерти. Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое одно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее.



Томленье духа
Из отроческих воспоминаний

Все это томленье духа.
Екклезиаст



В числе людей, которые принимали участие в моем воспитании, был длинный и тощий немец Иван Яковлевич, по прозванью Коза. Настоящей его фамилии я не знаю, — он своею наружно-

стью напоминал козу, и все мы звали его заочно Козою.

Это было в деревне, в Орловской губернии, у моих богатых родственников. Я у них рос и воспитывался, пока меня отдали в школу, в город. Для нас в деревне было несколько учителей: русский, Иван Степанович Птицын с женою, жил во флигеле, и француз, мосье Люи, тоже с женою и с сыном Альвином, который учился вместе с нами. Эти тоже жили в особом флигеле, и еще был немец Кольберг, одинокий, часто пьяный и драчливый. Он так часто ссорился с прислугою, что надоел дяде и был внезапно рассчитан; тогда на его место был взят Коза, который ранее этого жил уже в нескольких помещичьих домах в околотке, но нигде долго не уживался. Говорили, что он человек очень смирный и хороший, но «с фантазиями». Его к нам и приняли с таким уговором, чтобы жил с нами и учил нас по-немецки, но никаких своих фантазий не смел бы показывать.

Он взялся это исполнять и месяца три исполнял очень хорошо, но потом вдруг не выдержал и показал такую фантазию, как будто и не давал никакого зарока.

Летом раз заехала к дяде, по дороге в свое имение, губернаторша с сыном, мальчиком лет

одиннадцати, очень избалованным и непослушным. Мы пошли в фруктовый сад, и там этот гость оборвал какую-то редкостную сливу, плоды которой были у дяди на счету. Мы испугались его поступка и дали себе клятву во всем запираться и ничего не сказывать. Дядя вечером пошел в сад и увидал, что слива оборвана. Он рассердился, позвал Садовникова сына, мальчика Костю, и стал его спрашивать: кто оборвал сливу? Костя не знал, и на него упало подозрение, что эту сливу оборвал он и теперь запирается. Его за это велели высечь крыжовником, а он испугался и сказал, что будто в самом деле он съел сливы. Тогда его все-таки высекли. А мы знали, кто оборвал, но ничего не говорили, чтобы не нарушать клятву и не пристыдить своего гостя, но к вечеру некоторых из нас это стало невыносимо мучить, и когда мы начали укладываться спать, то я не стерпел и сказал Ивану Яковлевичу, что Костю наказали напрасно, — что он не вор, а вор вот кто, а мы все дали клятву его скрыть.

Иван Яковлевич вдруг побледнел и вскрикнул:

— Как — клятву?! Как вы смели клясться? Разве вы не христиане?! Кто вам позволил чем-нибудь клясться? Видите, сколько от этого зла вышло, и теперь я уйду от вас.

Мы еще больше встревожились и стали его упрашивать, но он твердил:

— Нет, я уйду, я непременно уйду, и не сам уйду, а меня выгонят, и это будет хорошо… Это будет к лучшему.

Так все говорил, а сам плакал и потом вдруг приложил лоб к оконному стеклу, вздохнул и побежал из комнаты.

Куда и зачем побежал — мы не могли догадаться и долго ждали его возвращения, но потом так и уснули, не дождавшись, чтоб он назад пришел; а утром, когда старая девушка Василиса Матвеевна принесла нам свежее белье, мы узнали, что Иван Яковлевич к нам и совсем не воротится, потому что он сошел с ума.

Боже мой!.. Мы так и обомлели… Бедный, добрый Иван Яковлевич сошел с ума!.. Это все мы виноваты. Но что же он такое сделал?

— А он явился в бесчеловечном виде к господам и сделал фантазию, и ему за это отказано.

Фантазия состояла в том, что, взволнованный нашим двойным злочинством, Коза сошел вниз, в гостиную, и, «имея в лице вид бесчеловечный», подошел к губернаторше и сказал ей совершенно спокойным «бесчеловечным голосом»:

— У вашего сына дурное сердце: он сделал по-

ступок, за который бедного мальчика высекли и заставили налгать на себя… Ваш несчастный сын имел силу это стерпеть, да еще научил других клясться, чего Иисус Христос никому не позволил и просил никогда не делать. Мне жаль вашего темного, непросвещенного сына. Помогите ему открыть глаза, увидать свет и исправиться, а то из него выйдет дурной человек, который умертвит свой дух и может много других испортить.

С губернаторшею сделалось дурно, и она зашлась в истерике.

Страшно рассерженный происшедшею сценою, дядя вытолкнул Козу за двери и сейчас же велел запереть его в конторе, а сегодня его велено уже отправить на мужицкой подводе в Орел.

Мы за него обиделись и сказали:

— Для чего же это «на мужичьей подводе»?

— А то на чем же? — отвечала Василиса.

— Можно было в тележке, в которой на почту ездят.

— Ну как же! Еще ему чего? В этой тележке попа святую воду петь возят… Для чего же его, глупого немца, держать в одной чести с батюшкой? Батюшка за наши грехи в алтаре молится, а его довольно бы еще и не на подводе, а на навознице вывезти.

— И за что вы его так не любите?

— За то, что он дурак и вральмен.

— Он никогда не врет, а всегда правду говорит.

— А вот это-то совсем и не нужно! Что такое его правда? Правда тоже хорошо, да не по всякую минуту и не ко всякому с нею лезть. Он сам для себя свою правду и твори, а другим свой закон на чужой кадык не накидывай. У нас свой-то закон еще гораздо много пополней ихнего, мы если и солжем, так у нас сколько угодно и отмолиться можно: у нас и угодники есть, и страстотерпцы, и мученики, и Прасковеи. Ему за нас встревать нечего. Зато ему и показали, где Бог и где порог.

— Как же это показывают?

— Где Бог-то?

— Да.

— А поставят человека к двери лицом да сзади дадут хорошенько по затылку шлык, а он тогда должен в подворотню шмыг.

— И это, по-вашему, значит — показать человеку, «где Бог»?

— Да. Вон пошел, вот и всё!

— Так, значит, и ему показали, «где Бог»?

— Ну уж как-никак, а показали, «где Бог», и всё тут.

— Что же, он его увидит и… пожалуй, будет рад,

что его прогнали.

— Ну уж это пусть его радуется, как ему нравится, нам его жалеть нечего.

Мне было очень жалко Ивана Яковлевича, а сын француза Люи, маленький Альвин, еще более о нем разжалобился. Он пришел к нам в комнату весь в слезах и стал звать меня, чтобы вместе убежать через крестьянские конопляники за околицу и там спрятаться в конопляхъ, пока повезут Ивана Яковлевича на подводе, и мы подводу остановим и с ним простимся. Мы так и сделали — побежали и спрятались, но подвода очень долго не ехала. Оказалось, что Иван Яковлевич пожалел мужика, который был наряжен его везти, и уволил его от этой повинности, а сам пошел пешком. На нем был его зеленый фрак и серая мантилья из казинета*, а в руках у него мотался очень маленький сверток с бельем и синий тиковый зонтик. Коза шел не только спокойно, но как бы торжественно, а лицо его было даже весело и выражало удовольствие. Увидав нас, он остановился и воскликнул:

— Прекрасно, дети! Прекрасно! О, сколько для меня есть радости в одну эту минуту! — И он раскрыл для объятий руки, а на глазах его заблистали слезы.

Мы бросились к нему и тоже заплакали, повторяя: «Простите нас, простите!» А в чем мы просили прощения — мы и сами того не могли определить, но он помог нам понять и сказал:

— Вы дурно сделали, что не берегли свою свободу и позволили себе клясться: поклявшись, вы уже перестали быть свободны, вы стали невольниками вашей клятвы… Да, вы уже не имели свободы говорить правду, и вот через это бедного мальчика сочли вором и высекли. Могло быть, что его на всю жизнь могли считать вором и… может быть, он тогда бы и сделался вором. Надо было это разорить… И я разорил… Надо было бунтовать, и я бунтовал… (Иван Яковлевич стал горячиться.) Я иначе не мог… во мне дух взбунтовался… проснулся к жизни дух… свободный дух от всякой клятвы. и я пошел… я говорил… я стер… я опроверг клятву… не должно клясться… Без клятвы будь правдив… Вот что нужно… нигде и ни перед кем не лги… не лги ни словом, ни лицом!.. Не бойся никого! Что писано в прописи, чтобы кого-то бояться, — это все вздор есть! Иисус Христос больше значит, чем пропись… о, я думаю, что Он больше значит! Как вы думаете, кто больше?

— Христос больше.

— Ну конечно, Христос больше, а Он сказал: «Никого не бойтесь». Он победил страх… Страх — пустяки… Нет страха!.. Даже я!.. Я победил страх! Я его прогнал вон… И вы гоните его вон!.. И он уйдет… Где он здесь? Его здесь нет. Здесь трое нас, и кто между нас?.. А!.. Кто? Страх? Нет, не страх, а наш Христос! Он с нами. Что?.. Вы это видите ли?.. Вы это чувствуете ли?.. Вы это понимаете ли?

Мы не знали, что ему отвечать, но мы «понимали», что мы «чувствуем» что-то самое прекрасное, и так и сказали.

Коза возрадовался и заговорил:

— Вот это и есть то, что надо, и дай Бог, чтобы вы никогда об этом не позабыли. Для этого одного стоит всегда быть правдивым во всех случаях жизни. Чистая совесть где хотите покажет Бога, а ложь где хотите удалит от Бога. Никого не бойтесь и ни для чего не лгите.

— О да, да! — отвечали мы. — Мы вперед не будем ни лгать, ни клясться, но как нам загладить то зло, которое мы сделали?

— Загладить… загладить может только один Бог. Заглаждать — это не наше дело. Любите Костю и напоминайте другим, что он не виноват, что он оклеветал себя от страха.

— Мы все так сделаем, но вы, Иван Яковлевич,

куда вы идете? У вас есть где-нибудь свой дом?

Он покачал отрицательно головою и сказал:

— Зачем мне свой дом?

— Ну, у вас есть… семейные… кто вас любит?

— Семейные?.. Нет… И зачем мне семейные?

— Кто же у вас свои?

— Ну, кто свои… кто свои!.. Ну, вот вы мне теперь свои… «свои» — это те, с кем одно и то же любишь…

— А особенно близких разве нет?

— Для чего же особенные? Что это вам такое?.. Надо делать все вместное, а совсем не особенное.

— Но куда же вы теперь отправляетесь?..

Он повел плечами и весело ответил:

— Куда я?.. К блаженной вечности; а по какому тракту — это совсем все равно, только надо везде делать Божье дело.

Мы не поняли, что такое значит «делать Божье дело», и плачевно приставали к Козе.

— Нам жаль, что вам отказали совершенно напрасно.

Он тихо покачал головою и отвечал:

— Нет, мне отказали совсем не напрасно.

— Как не напрасно? Ведь вы поступили всех нас честнее и ничего дурного не сделали.

— Ну вот! Для чего же делать дурное! Это не

надо… Но я сделал беспокойство: я сделал бунт против тьмы века сего… и меня нужно гнать… Это уж так… и это очень хорошо!

— Вы это так говорите, как будто вы сами этому даже рады.

— Даже рад! Да, я рад! Я очень рад! Ведь у нас «борьба наша не с плотию и кровию, а с тьмою века — с духами злобы, живущими на земле». Мы ведем войну против тьмы веков и против духов злобы, а они гонят нас и убивают, как ранее гнали и убивали тех, которые были во всем нас лучше.

— Но за что? За что это гонят тех, кто не сделал никому зла? Это ужасно!

— Ничего, — отвечал, еще больше сияя, Коза, — напротив, это хорошо… это-то и хорошо, что их гонят напрасно: это их воспитывает, это их укрепляет… И неужто вы хотели бы, чтобы меня не так выгнали, как теперь выгоняют за бунт против тьмы века и духов злобы, а чтобы я сам сделал кому-нибудь зло?

— О нет!

— Ну, так что же!.. Значит, все как следует быть… Все прекрасно… Со временем… если вам откроется, в чем состоит жизнь, и вы захотите жить самым лучшим образом, то есть жить так, чтобы духи злобы вас гнали, — то вы тогда будете

это понимать… Когда они гонят — это прекрасно, это радость… это счастье! Но… — Он взял нас за плечи и продолжал пониженным голосом: — Но когда они вас ласкают и хвалят… Вот тогда…

— Вы говорите что-то страшно…

— Да, это страшно. Тогда бойтесь, тогда осматривайтесь… ищите, чтобы спас вас Отец ваш Небесный.

— Отец Небесный! Но мы ведь не знаем… как это искать, что надо сделать…

— Что́ сделать?

— Чтобы Он нас спас.

— Ага! И я это тоже не знаю… и я это… даже не стою, а Он… — У Ивана Яковлевича в груди закипели слезы, и он стал говорить точно в экстазе: — Я бедный грешник, который вышел из ничтожества, я червяк, который выполз из грязи, а Отец держит меня на своих коленях; Он носит меня в своих объятиях, как сына, который не умеет ходить, и не бросает меня, не сердится, что я такой неумеха, и хотя я глуп, но Он мне внушает все, что человеку нужно, и я верю, что я у Него могу понять как раз столько, сколько мне нужно, и… вы тоже поймете… вам дух скажет… Тогда придет спасение, и вы не будете спрашивать: как оно пришло?.. И это все надо… тихо… Тсс! Бог идет

в тишине… Still![62]

Коза вдруг поник головою, сжал на груди руки и стал читать по-немецки «Отче наш». Мы без его приглашения схватили с голов свои шапочки и с ним вместе молились. Он кончил молитву, положил нам на головы свои руки и с полными слез глазами закончил свою молитву по-русски.

— Наш Отец! — сказал он. — Благодарю Тебя, что Ты вновь дал мне радость быть изгнанным за исполнение святой воли Твоей. Укрепи сердца терпящих за послушание Твоей воле и просвети разумом и милосердием очи людей, нас гонящих. Не оставь также этих детей Твоих надолго в пустыне — дай им войти в разумение и вкусить то блаженство, какое я теперь по Твоей благости ощущаю в моем духе. Дай им понять, в чем есть Твоя воля! — И он еще раз обнял нас, поцеловал и пошел в город совершенно бесприютный и совершенно счастливый, а мы, у которых все было изобильно и готово, стояли на коленях на пыльной дорожке и, глядя вслед Козе, плакали.

Он будто метнул в нас что-то острое и вместе с тем радостное до восторга. Коза на нас что-то призвал, нас что-то обвеяло, мы хотели что-то

---

[62] Примечания: 62
Тишина, молчание! *(нем.)*

понять, чтобы кончить мольбой о смягчении сердец, и вдруг оба вскочили, погнались за ним и закричали:

— Иван Яковлич!.. Иван Яковлич!..

Он остановился и обернулся, и показалось нам, будто он вдруг сделался какой-то другой — вырос как-то и рассветился. Вероятно, это происходило оттого, что он теперь стоял на холме и его освещало солнце. Но, однако, и голос у него тоже изменился. Он как-то будто лил слова по воздуху:

— Что вам еще? Что вам?

А мы не знали, что именно хотели ему сказать, и спросили:

— Увидим ли мы вас когда-нибудь?

Он ясно отвечал:

— Увидите.

— Когда же это будет?

Он глуше проговорил:

— Это случится… может быть… совсем неожиданно, а потом это опять не случится, и потом это опять иногда случится… *

Мы, казалось, бежали за ним, а между тем он один шел впереди, а мы все отставали и кричали:

— Где мы увидимся?



Комментарии

Очарованный странник

Впервые — в газете «Русский мир», 1873, 8 августа — 19 сентября под названием «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения. Рассказ. Посвящается Сергею Егоровичу Кушелёву»[63].

С. 41. *Валаа́м* — один из островов северо-западной части Ладожского озера, где расположен основанный в XIV в. Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь.

Коре́ла (Корельский городок) — древнерусский город и крепость на берегу Ладожского озера, ныне город При-озерск Ленинградской области.

Чухо́нцы — В России до 1917 г. название эстонцев и финнов, населявших окрестности Петербурга.

С. 43. *Послу́шник* — монастырский прислужник, готовящийся к пострижению в монахи и взявший на себя обет послушания.

---

[63] Примечания: 63

С. Е. Кушелёв — придворный генерал-адъютант, посетивший Лескова для выражения глубокого удовлетворения царственных особ от чтения рассказа «Запечатленный ангел», ставший истинным поклонником писателя.

Камила́вка — цилиндрический головной убор черного или фиолетового цвета у православного духовенства.

…в прекрасной картине Верещагина… — Речь идет о картине Василия Петровича Верещагина (1835–1909) «Илья Муромец на пиру у князя Владимира» (1872).

…в поэме графа А. К. Толстого. — Имеется в виду баллада Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) «Илья Муромец» (1871).

…«смолой и земляникой пахнет темный бор» — стих из баллады А. К. Толстого «Илья Муромец».

С. 44. *Митрополит Филарет* — митрополит Московский и Коломенский (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1783–1867).

С. 45. *Преподобный Сергий* — святой Сергий Радонежский (в миру Варфоломей, 1314–1392), основатель Троице-Сергиева монастыря, «святитель земли Русской»; канонизирован (признан святым) православной церковью в 1452 г.

С. 46. *Стратопеда́рх* — начальник военного лагеря, полководец *(лат.).*

Проскоми́дия — первая часть церковной службы.

С. 47. *На Троицу не то на Духов день…* — Празднование Святой Троицы отмечается на пятидесятый

день после Пасхи (Пятидесятница), вслед за чем сразу следует праздник Святого Духа.

С. 48. *Иеромона́х* — монах, имеющий сан священника.

Иеродиа́кон — монах в сане дьякона (проходящего церковное служение на первой, низшей ступени священства).

Рясофо́р — монах низшей степени пострига, готовящийся принять малую схиму, которому благословляется носить рясу и камилавку.

У́ндер — унтер-офицер, самый низший офицерский чин.

Вахтёр — здесь: смотритель при складах или запасах.

Кантони́ст — солдатский сын, обязанный к военной службе.

Ремонтёр — офицер, отправленный из полка для закупки лошадей.

С. 49. *Рарей* Джон (1827–1866) — американец английского происхождения, автор книги «Искусство укрощения и дрессировки лошадей» (СПб., 1859). В 1857 г. демонстрировал свое мастерство в России.

С. 50. *Все́волод-Гавриил* — новгородский и псковский князь Всеволод Мстиславич (в крещении Гавриил,? — 1138), известный своими ратными

делами в Ливонском крае, а также своим попечительством в пользу народа и церкви. В житии оценен как «вдовицам и сиротам заступник и кормитель». На гробнице Гавриила висит меч с надписью: Honorem meum nemini dabo, то есть «чести моей никому не отдам» (см.: Словарь исторический о святых, прославленных в российской церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых. М., 1991. С. 60).

С. 50. *…в два фу́нта…* — то есть весом чуть более 800 г. Фунт — старая русская мера веса, равная 409,51 г.

Мура́вный — покрытый глазурью, стекловидной оболочкой.

С. 54. *…граф К. из Орловской губернии.* — По всей вероятности, речь идет о генерале от инфантерии Сергее Михайловиче Каменском (1771 или 1772–1835), жившем в Орле с 1822 г. По многочисленным свидетельствам, отличался самодурством и жестокостью. Его Н. Лесков изобразил в рассказах «Тупейный художник» (1883) и «Театральный характер» (1884).

Варо́к — огороженный двор при конюшне.

Старинная синяя ассигнация. — Имеется в виду пятирублевая купюра синего цвета, выпущенная в 1786 г.

С. 55. *Форе́йтор* — верховой кучер на одной из передних в шестерке лошадей.

Битю́цкие — битюги — русская порода лошадей-тяжеловозов, получившая название по р. Битюгу Воронежской губернии.

Оборкаться — привыкать.

С. 56. *Кофише́нок* (кофеше́нк) — дворный чин смотрителя за приготовлением кофе, чая, шоколада и т. и.

…сто и сто пятнадцать верст… — то есть около 106 и 122 км. Верста́ — старая русская единица измерения расстояния, равная 1 066,8 м.

С. 57. 77… *пу́стынь.* — Имеется в виду, видимо, Предтечева Яминская пустынь Трубчевского уезда Орловской губернии.

С. 59. *…в Воронеж, — к новоявленным мощам…* — Очевидно, речь идет об обретении в 1832 г. мощей первого воронежского епископа Митрофана (1623–1703).

С. 67. *…триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию…* — то есть бумажными деньгами, которые оценивались в 1830—1840-х гг. в 27 копеек серебром за один рубль ассигнацией.

…от Митрофа́ния… — то есть из воронежского Благовещенского Митрофаниевского монастыря.

С. 68. *Никола́ев* — город на юге Украины.

С. 70. *Дыбки́ стоять* — вставать на ноги (о начинающем ходить ребенке).

А́глицкая болезнь — рахит.

С. 71. *Сарацы́ны* — здесь: мусульмане.

С. 79. *Сура́* — правый приток средней Волги.

Хан Джангар́ — хан Букеевской киргизской орды, кочевавшей в пределах прежней Астраханской губернии; был известен как крупный торговец лошадьми.

Рынь-пески — массив песков в низовьях Волги.

С. 81. *Селы́кса* — село в 12 км на восток от Пензы.

С. 82. *Мордовский Ишы́м* — село в 40 км на восток от Пензы.

С. 84. *Курохта́н* (турухта́н) — птица отряда куликов.

С. 86. *Квит* — кончено, конец (*устар.*).

С. 87. *Спрохвала́* — кое-как, без большого усердия.

С. 89. *Кара́ковый* — самый темный вариант гнедой масти лошади, почти вороной, с подпалинами.

С. 92. *Сабу́р* — выпаренный сок алоэ.

Калга́нный корень — корневище многолетнего травянистого растения рода лапчатка, используемое в медицине.

С. 101. *Хлупь* (хлуп) — кончик крестца у птиц *(охот.).*

С. 109. *…из Хивы…* — Хива, или Хивинское ханство (на терр. совр. Узбекистана и Таджикистана) в 1830– 1850-х гг. было враждебно настроено к России.

С. 114. *Керемéти* — в чувашской мифологии живущие в деревьях добрые духи.

С. 130. *…что Иов на гноище…* — В Библии (книга Иова) рассказывается о том, что Бог, желая испытать веру Иова, позволил Сатане лишить его детей, богатства и поразить проказой, так что тот был вынужден уйти из города и сидеть в пепле.

С. 133. *Лонтры́га* (лантри́га) — мот, гуляка.

«Краса природы совершенство» — первый стих из стихотворения неизвестного автора «Краса! Природы совершенство…», некогда приписывавшегося ряду известных поэтов (см.: Вольная русская поэзия XVIII–XIX вв. М., 1975. С. 236).

С. 134. *…в Четминéях нет.* — Чéтьи минéи — сборник расположенных в хронологическом порядке житий святых, предназначенный для чтения на каждый день.

С. 141. *…и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, — только одних белых лебедей нет.* — Имеются в виду ассигнации различно-

го достоинства: пятирублевые — синего цвета, десятирублевые — серые; двадцатипятирублевые — красные; сторублевые и двухсотрублевые — белые.

С. 143. *«Челнок»* — романс на стихи Д. В. Давыдова «И моя звездочка» («Море воет, море стонет…», 1834).

С. 147. *Ко́ник* — ларь с подъемной крышкой для спанья.

С. 155. *Воро́к* — хлев.

Обельма — множество, куча.

Велика́титься — важничать, отличаться приличным обращением.

С. 160. *Анфа́н (фр.* enfant) — дитя.

С. 162. *…у Макария стоит ярмарка…* — Имеется в виду известная ярмарка в г. Макарьеве при Макарьевском (Желтоводском) монастыре; в 1817 г. была переведена в Нижний Новгород, сохранив свое название.

С. 170. *Перезния́ть* — истлеть.

С. 171. *Маре́новый* — окрашенный краской из растения марена, ярко-красный.

С. 176. *А́ндия, Ава́рия* — историко-географические области Дагестана.

Сула́к — река в Дагестане.

С. 179. *…пустили меня с Георгием…* — то есть

наградив орденом Святого Георгия.

С. 180. *В балагане на Адмиралтейской площади.* — Речь идет об устраиваемых (до 1873 г.) на Рождество и Пасху деревянных балаганах для театрализованных представлений на Адмиралтейской площади в Петербурге.

С. 184. *У Якова-апостола сказано…* — неточная цитата из «Соборного послания святого апостола Иакова» (гл.4, ст.7).

С. 188. *…на Мокрого Спаса…* — то есть на праздник Первого Спаса, называемого также Медовым, отмечаемого 1 августа по старому стилю.

С. 190.. *.читать Житие преподобного Тихона Задонского…* — Далее следует отрывочный пересказ из Жития Тихона Задонского (см.: Записки о святителе Тихоне его келейников Василия Ивановича Чеботарева и Ивана Ефимова. М., 1874. С. 23).

С. 191. *…в Соловки к Зосиме и Савватию…* — то есть в монастырь, основанный в XV в. на Соловецких островах преподобными Зосимой и Савватием.

Кадетский монастырь

Впервые — в журнале «Исторический вестник», 1880, № 1, с подзаголовком: «Из рассказа о трех праведниках».

С. 195. *Перский* Михаил Степанович (1776–1832) — генерал-лейтенант, директор (1820–1832) Первого кадетского корпуса в Петербурге (1820–1882), участник Итальянского похода А. В. Суворова (1799).

С. 198. *Дортуа́р (фр*. dortoir) — общая спальня.

С. 203. *Рылеев* Кондратий Федорович (1795–1826) — русский поэт, общественный деятель, декабрист.

Румянцев — Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796), граф, фельдмаршал. Стал известен боевыми заслугами в Семилетней войне (1756–1763); за славные успехи в Русско-турецкой войне 1768–1774 гг. и покорении Крыма получил звание фельдмаршала и наименование Задунайского.

Прозоровский Александр Александрович (1732–1809) — князь, генерал-фельдмаршал, участник покорения Крыма; в 1790 г. назначен московским

главнокомандующим; сенатор. В 1808 г. — главнокомандующий армии, действовавшей против турок.

Каменский Михаил Федотович (1738–1809) — граф, генерал-фельдмаршал, участник Семилетней и Русско-турецких войн (1768–1774 и 1787–1791). Владелец поместий в Карачаевском, Крымском и Орловском уездах; в XVIII в. ему принадлежал Панин хутор (имение С. Д. Лескова).

Кульнев Яков Петрович (1763–1812) — генерал, прославленный полководец, участник Шведской войны 1808–1809 гг., Русско-турецких войн (1787–1791 и 1806–1812) и Отечественной войны 1812 г.

Толь Карл Федорович (1777–1842) — граф, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Принял боевое крещение в Итальянском походе А. В. Суворова; участник военных действий с Францией (1805) и Турцией (1806–1809), а также Отечественной войны 1812 г. и сражений 1814-го; во время Русско-турецкой войны 1829 г. и Польского восстания 1830–1831 гг. — начальник штаба армии.

С. 204. *Голенищев-Кутузов Павел Васильевич* (1772–1843) — главный директор военных корпусов, санкт-петербургский генерал-губернатор.

Демидов Николай Иванович (1771–1833) — генерал-адъютант; участник Прусского похода 1807 г.

и Финляндской кампании 1808 г. С 1825 г. — главный директор Пажеского и Сухопутного корпусов и член Совета военных училищ.

С. 208. *…целые пять пудов…* — то есть почти 82 кг. Пуд — старая русская мера веса, равная 16,38 кг.

С. 209. *Бобров Андрей Петрович* — назначен экономом кадетского корпуса в 1804 г.

С. 210. *У Боброва была Анна…* — Имеется в виду императорский орден Святой Анны.

С. 216. *Рацея* — длинная назидательная речь, наставление.

Зеленский Федосий Григорьевич — занимал должность штаб-лекаря Первого кадетского корпуса с 1802 г.

С. 221. *Строганов* Сергей Григорьевич (1794–1882) — граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, попечитель Московского военного округа (1835–1847). Время его управления, по свидетельству современников, было благодатным для Московского университета.

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) — граф, министр народного просвещения (1833–1849), президент Академии наук (1818–1855).

С. 223. *Кротоновое масло* — масло, получаемое

из семян растения семейства молочайных. Даже в малых количествах (свыше 20 капель) опасно для жизни.

С. 225. *«Отец архимандрит».* — Речь идет об архимандрите, впоследствии архиепископе Иркутском, Нерчинском и Якутском Иринее (в миру Иван Гаврилович Нестерович, 1783–1869), служившем в Первом кадетском корпусе с 1824 по 1826 г.

Сердового возраста — средних лет.

Привидение в инженерном замке
Из кадетских воспоминаний

Впервые — в «Новости и Биржевая газета», 1882, 5–6 ноября под названием «Последнее привидение Инженерного замка. Рассказ». С измененным заголовком включено в сборник «Святочные рассказы» (1886).

Рассказ основан на действительном происшествии, переданном И. С. Лескову в 1881 г. инженерным капитаном И. С. Запорожским (см.: Лесков А. И. Жизнь Николая Лескова. М., 1984. Т.2. С. 151).

С. 235. *Спири́ты* — люди, верящие в спиритизм, возможность общения с душами умерших, и занимающиеся им.

…здание бывшего Павловского дворца, известное ныне под названием Инженерного замка. — Инженерный (до 1823 г. Михайловский) замок был выстроен в 1797–1800 гг. по проекту В. И. Баженова архитектором В. Ф. Бренна для Павла I. Здесь в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. император был убит.

С. 236. *…в новейшей русской книге г. Кобеко* — то

есть в книге писателя и государственного деятеля Дмитрия Фомича Кобеко «Цесаревич Павел Петрович» (СПб., 1882).

…прежние инженерные кадеты. — Имеются в виду кадеты основанного в 1810 г. Инженерного училища (с 1819 г. — Главное инженерное училище); в 1855 г. на его основе была учреждена Николаевская инженерная академия.

С. 238. *«Вкушая вкусих мало меду и се аз умираю»* («Вкушая, вкусил мало меда, и вот я умираю») — неполная цитата из Библии (Первая книга Царств, гл. XIV, ст. 43).

…библейский рассказ, в котором эти слова находят себе место… — Речь идет о запрещении царем Саулом народу что-либо есть, пока он не отомстит своим врагам. Старший сын царя Ионафан, не знавший о запрете, отведал меда и должен был умереть. Однако народ воспрепятствовал этому: «Ионафану ли умереть, который доставил… спасение Израилю?.. И освободил народ Ионафана, и не умер он» (Библия. Первая книга Царств, гл. XIV, ст. 45).

С. 239. *В том 1859 или 1860 году умер в Инженерном замке начальник этого заведения, генерал Ламновский.* — Инженер-генерал-майор Петр Карлович Ламновский — преподаватель (1820-е

гг.), инспектор (до 1844 г.) и, наконец, начальник Главного инженерного училища.

С. 241. *Молешотт* Якоб (1822–1893) — немецкий физиолог, представитель вульгарного материализма. Здесь имеется в виду его речь «Свет и жизнь».

С. 245. *Г — тон, В — нов, З—ский и К — дин* — видимо, кадеты В. Гамильтон, И. А. Воронов, И. С. Запорожский, С. Ф. Клавдии. Материалом для рассказа послужили, по всей вероятности, воспоминания И. С. Запорожского, окончившего училище в 1864 г. При этом Гамильтон значится в выпуске 1861 г. (см.: Максимовский И. С. Исторический очерк Главного инженерного училища. СПб., 1889).

С. 249. *…описание, сделанное поэтом Гейне для виденной им «таинственной женщины»…* — Речь идет об описании заброшенного замка, где живут духи и по ночам бродит дама, из «Книги Ле Гран» («Путевые картины», т. II, 1827) немецкого поэта и публициста Генриха Гейне (1797–1856).

Томленье духа
Из отроческих воспоминаний

Впервые — в юбилейном сборнике журнала «Игрушечка», 1890 под названием «Коза. Из детских воспоминаний».

Эпиграф — искаженная цитата из библейской Книги Екклезиаста, или Проповедника (1.14).

С. 256. *Казине́т* — полушерстяная или хлопчатобумажная материя без ворса, тканная в косую решетку.

С. 261. *…потом это опять не случится, и потом это опять иногда случится…* — реминисценция из библейского Евангелия от Иоанна (гл. 16, ст. 16): «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу».